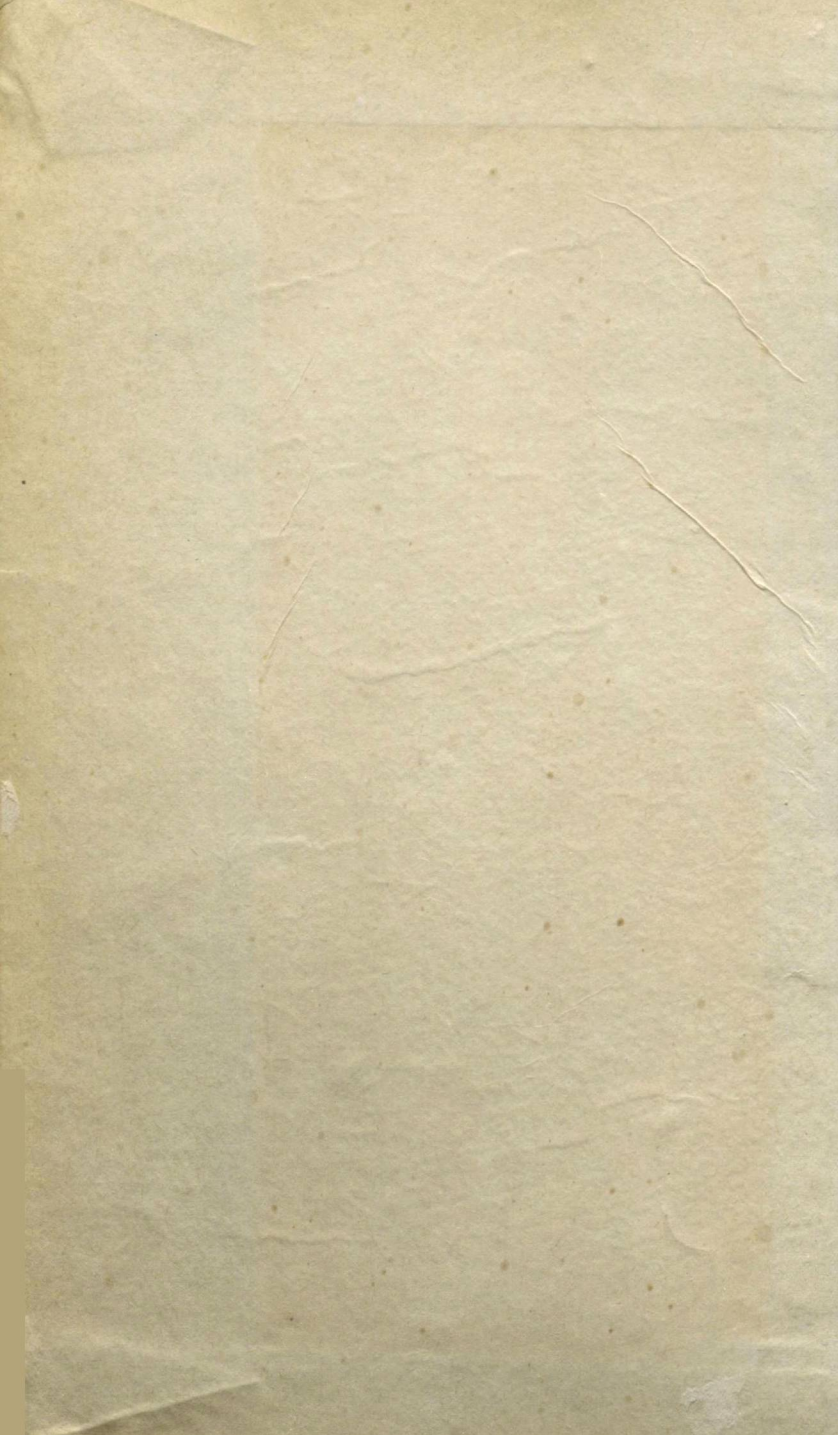
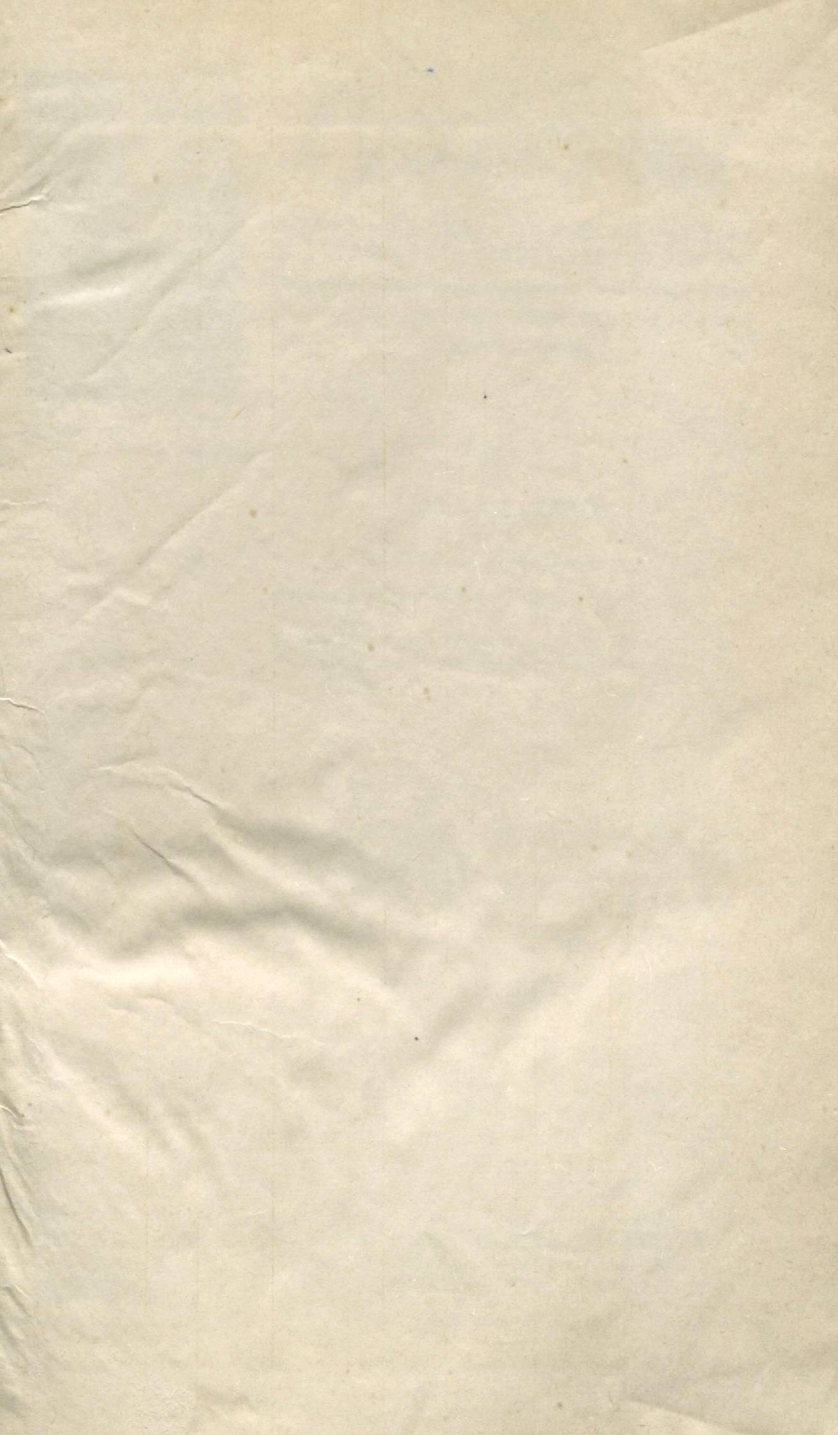


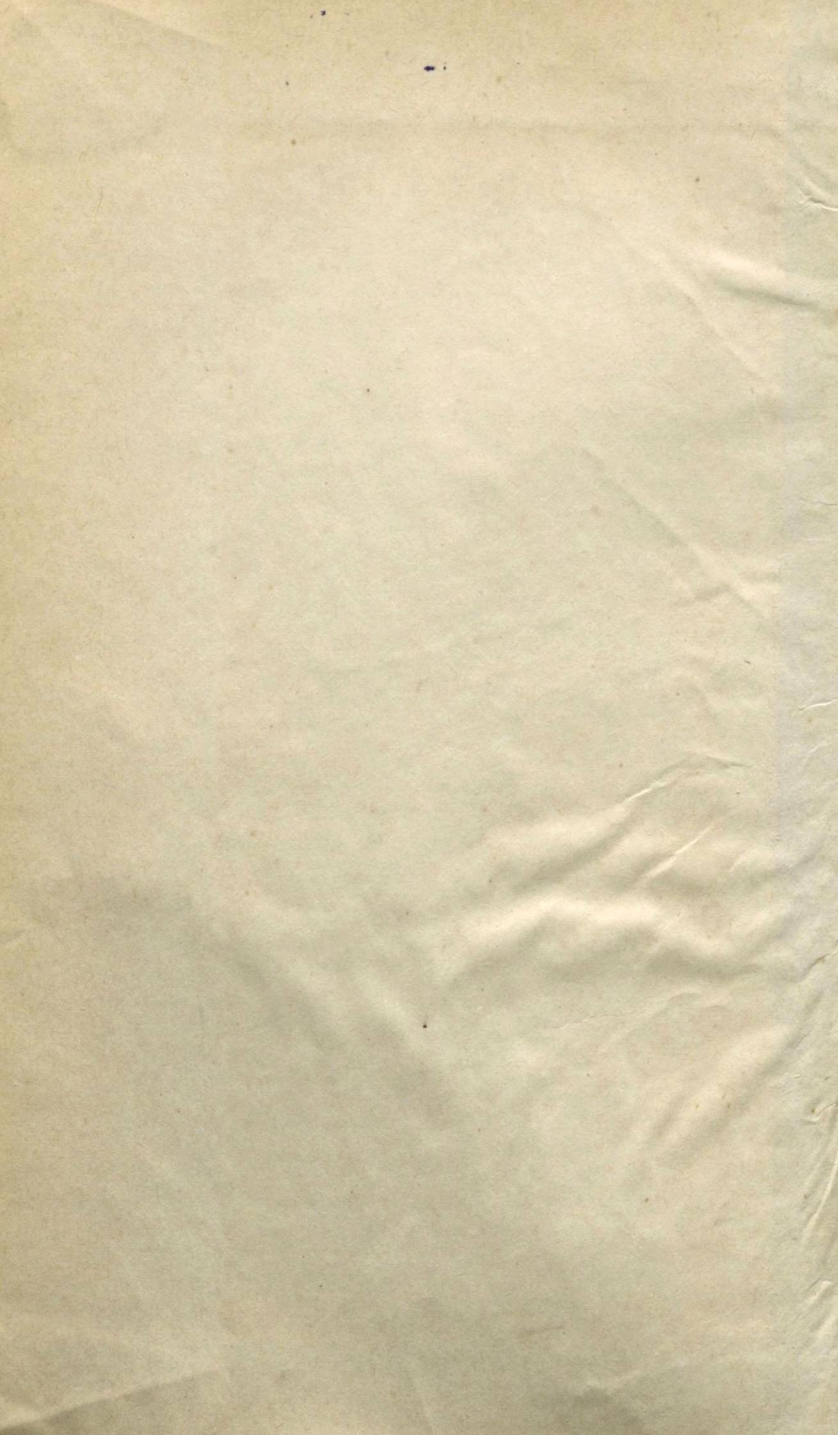
2 1961 АПРЕЛЬ - ИЮНЬ 1961
2-4 S. 1896



Гулистон









На обложке: „Здесь будет
Нурекская ГЭС“.

Фото В. Лиферова.

S 1896
1961/2-4

Гулистон

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА
№ 2 АПРЕЛЬ—ИЮНЬ 1961



ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЕЛА И ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ.

Александр Усенко. Нурек. Главы из поэмы	3
Р. Каримов. В поисках героя. Очерк.	9
А. Румянцев. Последний из кишлака Усой. Очерк.	20

Х. Ирфон. Два друга. Повесть. Перевод Л. Кандинова.	30
Лоик Шералиев. Зеравшан. Стихи. Перевод Е. Петровой.	64
В. Жуковский. Ступеньки к людям. Повесть.	65
С. Шмеркин. Когда цветет миндаль. Рассказ.	100

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Мухаммеджан Рахими. Весеннее. Стихи. Перевод Е. Петровой.	106
---	-----

ГОЛОСА ЗАРУБЕЖНЫ ДРУЗЕЙ

Свадат Хасан Манто. Три с половиной анны. Рассказ. Перевод с урду В. Е. Иванова.	108
--	-----

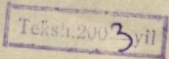
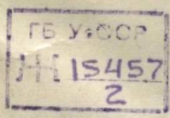
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

М. Муллоджанов. Литературная критика и воспитание молодых писателей. Статья.	112
А. Гордон. Литература переднего края. Заметки об очерке.	122

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

СТАЛИНАБАД,
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 6,
ТЕЛЕФОН № 41-66



Рукописи не возвращаются

Редакционная коллегия:

К. Я. ЛАГУНОВ (ответственный редактор)

В. А. БАЙДЕРИН, В. С. ЖУКОВСКИЙ (ответственный секретарь), **В. Ф. КИРИЛЛОВ,**
М. И. ЛЕВИН, Г. МИРЗОЕВ, М. МУЛЛОДЖАНОВ, Ф. НИЯЗИ, Ф. ТАШМУХАМЕДОВ,
С. УЛУГ-ЗОДА, М. П. ФОФАНОВА, Р. ХОДИ-ЗАДЕ

Худ. редактор **А. Диков.**

Корректор **В. Онищенко**

Слано в набор 26/V-1961 г. Подписано в печать 11/VII-1961 г. Формат бумаги 70×103¹/₁₆. Печ. л. 8.25.
Уч.-изд. л. 11.40. КЛ 03193. Заказ № 2536. Тираж 3000. Цена 50 коп.

г. Сталинабад, Полиграфкомбинат Министерства культуры Таджикской ССР

Александр УСЕНКО

ШУРЕК

(Главы из поэмы)

XXII съезду КПСС посвящаю.

* * *

Под нами лежит
 Кара-Тау вершина,
Что кажется близкой
 издалека,
Где лезут без спроса
 к шоферу в кабину
Кудрявые
 странники-облака...
Где каждый на снег
 смотрит, щурясь
 невольной:
Слепит белизной
 и режет глаза!
Где точит о скалы
 клинки своих молний,
Рожденная здесь же, в горах,
 гроза...
Откуда видны неоглядные дали,
Где к звездам ты ближе,
 сосед Луне...
Откуда отчетливо
 бурой эмалью
Виднеется Вахш,
 закован в броне...

Особенно здесь,
 так неистов,
 кипит он,
Особенно здесь
 встает на дыбы,
Из каменных глыб
 высекая копытами,
Лучистые искры
 своей судьбы...
Багряная пена
 на скальных карнизах
Густо пропитана
 соком зари.
И он человеку
 бросает свой вызов:
— Ну-ка, попробуй!
 Иди,
 покорись!

* * *

Куда бы ни глянул — скалы!
Самой различной масти.
И злобные их оскалы —
Напоминают пасти...
Пусть они безъязыкие,
Мучит всегда их жажда.
И трещины-рты
 для крика
Разинула каждая...
Лежат они здесь под небом
Не месяц,
 не год —
 века!
И выпал не каждой жребий
Пить воду из родника.
Но сдвинь
 тот замшелый камень, —
Заброшен в такую высь! —
Там зелени языками
Весной полыхает жизнь.
Букетом розовокожим
Здесь в марте цветет миндаль.
Спроси у любого прохожего:
— Сорвали б?
 Ответит:
— Жаль!

* * *

И вот обычный день недели
Уже в историю вошел.
В Пули-Сангинское ущелье
Приехал первый новосел,
Ему казалось все здесь ново,
И все понравилось вполне.
Хвалу и честь воздал он плову,
Гостеприимной чайхане.

Шурпе наваристой, лепешке...
Но был немало изумлен,
Когда открыл, что ели ложкой
Из всех —

шофер один

да он...

Заметил — спят здесь не в кровати,
Венчают голову чалмой
И ходят в стеганом халате,
По слухам, летом и зимой...
Чуть не сказал про беспорядок,
Подмеченный хотя бы в том,
Что, вот, на маленьких лошадок
Садятся взрослые верхом...
Приятно гостя поразила
Здесь близость неба,

а на нем

Крупнее фар автомобильных
Он видел звезды даже днем...
Польщен был дружеским участием
Простых, приветливых людей.
И удивился, что дичатся
Его здесь табунки детей...
Уже оформлена прописка,
Он взят на воинский учет,
Он обошел по скалам с риском
Весь предстоящий фронт работ.
Пока машины на подходе,
Райкомы кадры подберут,
Он вечером на почту сходит,
Подаст сигнал для тех, что ждут...
Скупые строки телеграммы
Бегут к друзьям — пора спешить:
«Работа ждет. Ответ за вами!»
Здесь есть где руки приложить!..

* * *

Первую тропку,
знаю,
трудно прокладывать!
Нет впереди
ориентиров и вех.
И, каждая
непредвиденная преграда
Своей неизвестностью
пугает всех...
Отступить и поняться,
конечно, проще,
Но юных романтика
манит к себе.
Я в тридцатых годах
от вокзальной площади
Сам шагал
к незнакомому
Дюшамбе...
Исчезает из памяти
очень многое,

Но вспомнишь былое —
людей удивишь,
Что здесь,
в бездорожье,
я строил дороги,
Выжигал тугай
и косил камыш...
Здесь безжалостно душу
испытывал зноем,
Убеждался киркой,
что скалы тверды.
Здесь ходил по горам
с бурдюком за спиной,
Чтоб найти для друзей
по глотку воды...

* * *

Проворно
салютуют семафоры,
Зовет к себе
зеленая звезда.
И к финишу —
в гиссарские предгорья,
Железным шквалом
мчатся поезда.
Стучат на стыках
яростно колеса,
На спинах шпал
не просыхает пот.
И от своей же
тени паровозы
Никак не могут
вырваться вперед...
Скрежещут автосцепки
от натуги,
Рессоры гнутся
у платформ
в дугу.
Ведь вся страна
с таджиком,
верным другом,
Готова разделить:
свою тайгу,
Запасы руд,
металла, урожая,
Величье и порыв
своих сердец.
И эхо,
поезда опережая,
Влетает в город
с вестью, как гонец.
Тик-так, тик-тук!
Оно разносит звуки.
Тик-так, тик-тук!
Звучит то там,
то здесь.
И все чеканней
ритма перестуки:

Идет на юг
 состав-тяжеловес!
И каждый раз
 сбываются прогнозы,
И промахов
 у эха
 не найдешь.
Везут на наши стройки
 паровозы
Со всей страны великой
 молодежь.
Родную,
 нашу,
 цвет,
 надежду века!
Творцов,
 героев
 завтрашнего дня,
Кого ведет
 стремление к Нуреку,
Как долг бойца
 на линию огня...
В душе порыв
 святой,
 неистребимый!
В глазах решимость
 светится, тверда,
И каждый день
 встречается в пути нам
Манящая, зеленая звезда...

* * *

Захвачен здесь
 всеобщим я движеньем
Гордась, смотрю
 на стройку с высоты.
И вот в деталях,
 контурах и звеньях
Рисует зримо
 кисть воображенья
Большого Завтра
 светлые черты:
Красавец-Вахш,
 бунтарь
 и вечный грешник,
Течет, обуздан
 в новых берегах...
И ярость пусть его
 осталась прежней,
Сверкают гнева
 молнии в глазах,
Он все свои
 взрывчатые усилия
Вдохнул в круги турбинные колес.
Он сделал древнюю
 легенду былью,

Зажег над миром
мириады звезд.
Сбылась заветная
мечта таджиков:
Вода сквозь толщу
каменной горы.
Течет, как кровь,
к полям Оби-Киика,
В простор долин
Явана, Дангары...
Кругом сады,
достаток, изобилье,
В лугах пасутся
тучные стада,
А вместо
паровых локобилей —
Пространство врут
электропоезда.
Им не нужны
для пищи
нефть и уголь,
Им не нужна
на станциях вода.
Над головой,
как у трамваев, —
дуги,
А вдоль спины —
полоской провода.
В них бьется сердце
Вахша-исполина,
Те провода —
канаты медных жил —
Он нам, как руки,
протянул в долины,
Доверчиво
на плечи положил.
Они, звеня,
бегут в кишлак и город,
От ГЭС ведут,
как будто на вожжах,
Гигантские
железные опоры,
С набором
изоляторов в ушах...
Мечты на крыльях
мчат меня вдогонку,
Мечты к блокноту
тянут карандаш.
И пред глазами,
будто с киноплетки,
Встает другой
заманчивый пейзаж...

гор. Сталинабад, 1961 г.

В поисках героя

(Очерк)

Тромадинами-стройками нас теперь не удивить. Так что вряд ли следует пространно рассказывать о канатно-воздушных дорогах, о статридацатиметровых печах, о шламбассейнах и дробильных фабриках. Лучше поговорить о тех, кто воздвигает заводские корпуса Ново-Сталинабадского цементного завода.

Недавно вращающаяся печь дала первые тонны клинкера. Сорок месяцев полагалось по плану на строительство Ново-Сталинабадского цементного завода. А строители справились с заданием за 18 месяцев.

Кто эти люди, которые сумели наполовину сократить сроки строительства?

Я решил побывать у них, познакомиться с их жизнью, а, главное, — найти среди них героя своей будущей книги.

И вот я в автобусе, который идет на стройку. По пути припоминаю все, что знаю о цементе...

До революции цемент производился лишь в нескольких городах центральной России. Восемьдесят процентов его производства приходилось на Подмосковье и города Новороссийск, Вольск, Амвросиевск. На Востоке и Севере почти совершенно не было цементных заводов. Сырье на карьерах добывалось вручную. Цементные предприятия были оборудованы примитивной техникой, поэтому их производственная мощность была крайне низкой.

За годы Советской власти цементная промышленность неизмеримо выросла. В 1954 году наша страна произвела 19,3 миллиона тонн цемента и по его производству вышла на одно из первых мест в мире. В решении XXI съезда КПСС предусмотрено резкое увеличение производства цемента с тем, чтобы в 1965 году довести его до 71—81 миллиона тонн. Прирост производства цемента за семилетку равен такому количеству, которое производят в настоящее время Соединенные штаты Америки!

Таджикистан только в 1942 году получил собственный цемент. В том году был пущен первый цементный завод. Теперь этот завод называют Старо-цементным: рядом с ним, на пустыре, растут корпуса нового цементного гиганта.

Мы набрали такие темпы строительства, что даже десять Старо-цементных заводов не смогли бы обеспечить республику цементом. Поэтому-то и начато было строительство нового гиганта цементной про-

мышленности. В 1958 году республика произвела 48,9 тысяч тонн цемента, а к концу 1965 года мы будем получать его 850 тысяч тонн. Чтобы перевезти эту продукцию, потребуется 42500 вагонов...

Автобус закончил свой путь и остановился на холме. Мы вышли из машины.

Передо мной открылась величественная панорама строительства. Стройка начиналась за много километров отсюда. Там, вдоль бурной Дюшамбинки, зажатой тисками каменных громад, гнездились камнедробилки, темнела лента карьера. Миллиарды тонн известняка дадут заводу кладовые Харангонского ущелья. Под ногами дрожит земля от взрывов. Скоро к заводу по воздушно-канатной дороге через холмы и ущелья побегут вагонетки с сырьем.

Стройка упирается в дощатую изгородь Силикатного комбината. Там, за изгородью, высятся красивые многоэтажные корпуса, нацелились в небо трубы... А ближе, раздвинув плечами пустырь, встали огромные высоченные бункера подсобного бетонного завода. Рядом с ними — огромные обжиговые печи диаметром в полтора человеческих роста. Они напоминают откормленных кабанов, разлегшихся посреди двора. Над печами нет крыши и они работают под открытым небом. Рядом с гигантскими печами подсобные корпуса кажутся коробочками: механический цех электрофильтров, горизонтальный шламбассейн, за ними — еще цеха, подстанции. На сотни метров тянутся дробильносортировочные башни, соединенные транспортерами, могучие заводские трубы, дым от которых плывет вместе с облаками... По строительной площадке всюду снуют сердитые, деловые МАЗ'ы.

Словом, передо мной раскинулся самый настоящий городок с лабиринтами улочек, переулков, гудками машин и лязгом железа, башенными кранами, с высокими насыпями вывернутой наизнанку земли. Всё это тонет в утренней дымке...

Я остановился у башенного крана, стрелка которого указывала на солнце. Из-под облаков донесся девичий голос:

— Э-э-дик!

Простучали туфельки по металлическим ступенькам. На землю прыгнула девушка. Черные бриджи туго обтягивают бедра. Безрукавка почти сливается с коричневыми плечами. Из-под платка, надвинутого козырьком, блестят синие, озорные глаза.

Девушка шагнула к дороге, на которой стоял Эдуард Козлов — веселый парень в сетчатой майке, мускулистый, загорелый до черноты...

Что между ними? Так называемые производственные отношения или любовь? А может и то, и другое? Не они ли те самые герои, которые мне позарез нужны?

— Ну что вы, какие мы герои! — энергично отмахиваются оба, когда я обращаюсь к ним с этим вопросом.

Позже я встретил Эдуарда Козлова в цехе электрофильтров. Несмотря на свою улыбочку, в разговоре он серьезен. Нравится ли ему профессия электрика? Конечно. Почему? Да потому, что в ней каждый раз открывается что-то новое, интересное. А приехал он из Сибири. До того был в Казахстане. Недавно женился. На Нурекскую поедут вместе. Вот и все. О прошлом нечего говорить. Вся жизнь впереди.

— А жена где работает? — пытаюсь я поддержать гаснущую беседу.

— Она крановщица. Вы только что ее видели.

— О, замечательно! Семья строителей! Вот о вас-то я и напишу очерк.

— О нас? — удивился Эдуард. — Чего о нас писать? Живем. Трудимся. Лучше вот о Спиридонове напишите.

— А это кто?

— Золотой человек. Наш бригадир.

Спиридонова найти не легко. Если на бумаге вычертить его путь за день, то получится сложная схема, похожая на кровообращение человека. Спиридонов обязан знать все. В его руках, так сказать, вся жизнь стройки — ее электрическая энергия.

Спиридонов оказался на насосной станции. Одноэтажный кирпичный домик приютился на крутом берегу канала, запустив всасывающие трубы в холодную воду. Над обрывом стоит трактор ДТ-54. Два человека возятся с тяжелым электрическим мотором, осторожно кантуют его. А внизу двое других цепляют за трос очередной мотор.

— Тащи!

Тракторист приподнимает ступню, освобождает педаль тормоза, трактор медленно, без напряжения, трогается с места...

Люди сперва не замечают меня, лишь долгое время спустя спрашивают, кого я ищу.

И вот передо мной — низенького роста, голубоглазый молодой человек. Каштановые, с завитушками, волосы. Лицо интеллигентное. Ровный голос, полный сердечного тепла. Неторопливые движения. Внимательный, задумчивый взгляд.

В коммунистической бригаде, которой руководит Спиридонов, всего шесть человек. С одним из них, Эдуардом Козловым, мы уже знакомы.

Спиридонову часто приходится сталкиваться с трудностями, которые возникают самым неожиданным образом. Верно, это обстоятельство. Как-то Эдуард Козлов ремонтировал электрический мотор. Замучился. Рассердился. Бросил.

— Упарился, бедняга, — насмешливо заметил Спиридонов.

— Чёрт его знает, где тут начало, где конец.

— А ты не ершись, подумай.

Еще целый час просидел Эдик, неумело ковырялся в витках медных проводов, но разобраться было не легко. На чертеже все ясно, а в самом моторе — темный лес.

— Да ну его! — снова отбросил ключ и сел на верстак.

— На верстак не садись, — напомнил Спиридонов.

Эдик разозлился.

— Почему бы нам не отвезти этот мотор в электромастерские? — сердито спросил он, соскакивая на пол.

— Потому, что моторы без конца перегорают и в мастерские не набегаешься. Будут вечные простои.

С помощью бригадира Эдик в конце концов нашел неисправность.

Спиридонов не любил кричать. «Криком коммунизм не возьмешь, — говорил он. — Надо все делать с умом».

Он любил и умел работать.

Весной произошел такой случай. Всю ночь свирепствовала гроза. Хлестал ливень. Оглушительные раскаты грома разбудили Спиридонова. Он зажег спичку, взглянул на часы. Было четыре часа ночи. Прозвучала жена, спросила:

— Чего ты вскочил, Лука? — и снова заснула.

А он подошел к окну, пытаясь рассмотреть, горят ли прожектора на стройке. Но вот настороженное ухо уловило чавкающие шаги и приглушенные голоса. Спиридонов накинул плащ и вышел на улицу. Прикрываясь от холодного дождя, пошел навстречу людям. Это были слесари-монтажники из бригады Елисеева. Спиридонов знал: ночная смена кончает работу в восемь утра, а сейчас только четыре.

— Что случилось? — спросил он.

— Опору громом повалило, — бросил скороговоркой кто-то.

Можно бы идти досыпать. Утром вызовут аварийную команду. Через день-другой стройка получит энергию. Но он уже не мог уснуть. Одев спесовку, побежал в общежитие будить ребят.

Через час вся бригада была в сборе. Ливень прошел. Дул северный ветер. Металлическая опора лежала на земле.

Эдик обследовал подъездные пути и удрученно сообщил:

— Дороги нет. Автокран не подъедет — кругом одни овраги.

— Ну что ж, придется поднимать рогатками, — решил Спиридонов.

Обычно рогатками поднимали сосновые столбы, которые во много раз легче металлических опор. Но раз надо — выручай русская смекалка.

Тут же принялись сколачивать из досок козлы. В темноте раздавались глухие удары и частое дыхание людей, раздавался чавкающий, со всего размаха, удар о землю.

А потом четверо взялись за металлические планки, поднатужились, приподняли, двое подвели козлы — и головка опоры очутилась на метр от земли.

— Теперь передвигайте ближе к основанию. Ну, взялись...

Над стройкой поднялось весеннее солнце. На траве ртутью засверкали дождевые капли. В чистом небе заливался жаворонок. К полудню работы были завершены. Металлическая опора встала на свое место. Её закрепили цементным раствором. Эдуард со Спиридоновым влезли наверх и проторчали там до тех пор, пока не подсоединили обрыв.

В час дня Спиридонов включил рубильник. Заработали притихшие было моторы, зарокотали, зазвенели электропилы и вибраторы, засверкали огнями вспышек электросварочные аппараты... Стройка ожила, точно по ее жилам пустили горячую кровь.

Мы с Эдуардом возвращались с насосной станции. Шли по железнодорожной линии. Быстро идти мешали шпалы и мелкий щебень. Солнце жгло затылок. Эдик шел вразвалку, влюбленно поглядывал по сторонам. Этот доверчивый, улыбающийся человек производил на меня приятное и светлое впечатление. Держался он свободно, не навязчиво. С такими легко дружить.

Впереди показался бетонный завод. Из-за поворота медленно выкатился паровоз. Мы сошли с линии и пропустили его.

— Вот здорово! — В глазах Эдика мелькнул восторг.

Было чему удивляться! Еще вчера тут копошились путейцы, укладывая железнодорожные шпалы, настилая рельсы, а сегодня идет паровоз.

Потом мы увидели, как стационарный кран подцепил длиннейшей стрелой многотонную железобетонную конструкцию и понес ее к МАЗу. У самосвала стоял паренек.

— Майна, майна! — кричал он и большим пальцем указывал вниз. Эдуард помахал ему рукой.

— Когда? — спросил парень.

— Пока неизвестно, — ответил Эдуард.

Видимо, они с полуслова понимали друг друга.

Незаметно промелькнул остаток пути. В помещении было прохладнее. В небольшое окошко заглядывало солнце. На подоконнике, на верстаке, на стеллажах — всюду сложены мотки проволоки, металлические детали, трансформаторные катушки. Эдуард сходу прошел к зажиму и рашпилем стал затачивать деталь. Медная пыль рассыпалась золотыми искрами.

Мне трудно представить его без дела. Руки у него всегда чем-то заняты.

Как-то в механическом цехе испортился токарный станок. Перегорел выпрямитель — прибор величиной со спичечную коробочку, преоб-

разующий переменный ток в постоянный. Запасного на складе не оказалось. Токарю угрожало долгое простое. Люди из всех сил стараются поскорее сдать в эксплуатацию первую печь... А тут простое.

В это время в мастерскую случайно зашел Эдуард.

— Не волнуйся, — сказал он токарю. — Я попытаюсь исправить.

Вот когда пригодилась спиридоновская выучка.

Эдуард сел на пол около станка и надолго задумался.

Потом извлек из коробочки станка выпрямитель. Пластинки перегорели — на них густым слоем чернела копоть. Долго вспоминал, где же видел похожие пластинки. Вспомнив, побежал за ними. Но они оказались иной формы и сечения... Не тот вольтаж. Для математических расчетов не хватало знаний. В институт он пока лишь готовился. Пришлось сбегать к главному энергетнику за чертежами.

Когда он вышел из мастерской, над горами уже поднималось солнце. Было утро. Эдуард потянулся и зевнул.

— Ну как? — спросил сторож.

— Все в порядке, — подмигнул Эдуард.

— Так, так... — одобрил сторож и посоветовал: — Шел бы спать.

— Кто же днем спит? — ухмыльнулся Эдуард и неторопливой походкой пошел к механическому цеху.

Лука Спиридонов и Эдуард Козлов жили недалеко от строительства, в небольших деревянных вагончиках, выстроившихся рядами у подножия холма. Об удобствах такой жизни не приходится говорить. Уж кому-кому, а строителям всегда достается. Летом тонкая железная крыша нагревается так, что домик превращается в парную. Вокруг вагончиков — ни дерева, ни тени. Воду привозят...

— Ничего! — подбадривал Эдуард молодую жену. — Это даже романтично. Где ты такое в Сибири увидишь...

С квартирами пока трудно. «Цементстрой» сооружает дома для специалистов-цементников, которых ждут на завод. Но изредка квартиры перепедают и строителям. Такое счастье выпало Спиридонову.

С тех пор вся бригада в составе шести человек, как говорится, днюет и ночует на квартире у Спиридонова.

Вот и сегодня, как только в рельсу отстукали отбой, Спиридонов сказал:

— Сегодня по телевизору «Пиковая дама» Чайковского.

— Во сколько?

— В семь.

Сложили инструменты, закрыли мастерскую и разошлись «перекусить», Спиридонов и Козлов пошли вместе.

Идти пришлось мимо общежития и тут из окна донесся пьяный басок:

— Пей.

— Н-не хочу. Не лезет.

Лука и Эдуард переглянулись, остановились.

Когда Эдик был холостяком, он жил в этом бараке.

Помнится, в день полочки он приносил в общежитие кучу денег, бросал их в тумбочку. И все так делали. Если кому нужны были деньги, предупреждали:

— Я у тебя взял сотняшку.

— Хорошо.

Или:

— Я положил тебе двести, брал как-то.

Потом, когда на стройку потянулись разные люди со всех концов Союза, положение резко изменилось. Среди вновь прибывших попада-

лись и нечестные люди. Были даже воры-рецидивисты. Непокойно стало в общежитиях. Исчезали деньги, костюмы... А однажды забрались в кабинет постройкома, перерыли все бумаги в столах, вскрыли сейф.

Позже воры-рецидивисты удрали со стройки. С тех пор стало спокойнее. Однако...

И они, не сговариваясь, пошли в общежитие.

Объедки, пустые бутылки. Уронив на стол голову, сидит Андрей, слесарь-монтажник. Он храпит. Напротив бодрится Димка, электросварщик. Он красен, пьян, еле сидит на стуле, завалившись всем корпусом назад.

— Слышь, Андрей, пей!

— Ты что это его спавиваешь? — прямо с порога крикнул Спиридонов:

— А-а, дружище, заходи!

Димка — косолапый, здоровый парень, встал. Покачиваясь, пошел навстречу, сгреб в охапку Спиридонова и потянул к столу, бормоча приветствия, разливая остатки водки по стаканам.

— В честь чего загулял? — сердито спросил Спиридонов.

— А что делать? — Димка уставился красными глазами на Эдуарда. — Вот ты, скажи, если у меня карманы лопаются от денег, а вечерами некуда пойти, что мне делать?

Эдуард промолчал.

— Молчишь? Не зна-аешь?! Пить надо, чуда-ак!

Спиридонов стал успокаивать Димку:

— Так тоже нельзя. Не дело. Надо что-то придумать. А сейчас ложись, спи...

Спиридонов и Козлов, выйдя из общежития, некоторое время шли молча.

— Помнится, отец рассказывал одну старинную притчу, — первым нарушил молчание Спиридонов. — Мужики села Голодайки зело пили, а напившись, кабаки закрывать порешили. А посему-де снова пили, а снова напившись, открывать кабаки порешили. И так без конца. Люди заливали горе. А у нас иные ежемесячно получают до двух тысяч и пьют от нечего делать. Другая крайность. Не понимаю, ни черта не понимаю.

— Иной теперь строитель! Димка прав, — задумчиво заговорил Эдуард. — Прошли те времена, когда люди пили не задумываясь. Люди становятся чище, культурнее. Посмотри на заводских ребят — у них и футбольная команда, и кружок бокса, и телевизор, и танцы, концерты, вечера... А у нас? Клуб и тот чужой. Народ-то мы сборный — построили и разъехались. А ведь стройка наша молодежная.

* * *

В поисках героя я побывал во многих бригадах и цехах. Я поднялся на вертикальные шламбассейны, шагал по лабиринтам заводских корпусов. Подолгу наблюдал за работой электросварщиков. Задрав голову, на карнизах корпусов читал плакаты:

«Работай отлично, а не как-нибудь, короче к коммунизму путь».

Или на красных жестяных табличках:

«Здесь работает бригада слесарей-монтажников тов. Елисеева. Бригада борется за звание коммунистической».

Табличка прикреплена на башенном кране, стрелка которого медленно опускает в двухэтажный корпус огромную металлическую пластину. Это одна из многочисленных деталей электрического фильтра. Кстати, такие фильтры — новинка в цементной промышленности нашей страны. И новшество очень важное. Без этих фильтров в воздух уходило бы 25% высококачественного цемента, или около 120 тонн в сутки.

Эти фильтры сооружены елисейской бригадой. Их установка — очень кропотливое дело. Огромные пластинки высотой с двухэтажный дом приходится монтировать из многих тысяч деталей. По проектному заданию на выполнение этих работ дается 75 дней, но...

Аркадий Елисейев хорошо понимал обстановку на стройке. Строители дали слово в самые сжатые сроки сдать в эксплуатацию первую технологическую линию и дать республике первые тонны клинкера, а уж потом и цемента.

По стройке прошел слух: без нашего цемента не могут начать строительство Нурекской ГЭС. Шутка ли — воздвигнуть плотину выше Эйфелевой башни.

Елисейев собрал бригаду.

— О чем может быть речь! — согласились ребята. — Надо! И весь разговор!

— Если продумать все до мелочей, — говорил он, — можно вдвое сократить сроки работ. По-моему, сборку осадительных электродов нужно производить на земле. Это, во-первых, ускорит дело, а, во-вторых, облегчит работу сварщиков...

И вот началась борьба за сокращение сроков строительства, борьба за время! Днем и ночью лязгало железо, трещали сварочные аппараты.

Наконец закручена последняя гайка, проверено, прощупано всё. Бригада выполнила обязательства за 35 дней, 40 дней экономии!

...Елисейев рассказывал короткими, рублеными фразами. Судя по лицу, он был еще молод, но голова припорошена сединой. Видно, не легким путем шел человек. Мне показалось, что ему не хочется вспоминать пережитое. А возможно, он очень разборчив в людях и не очень доверяет мне. Нехорошо быть назойливым. Впрочем, может быть, ему просто было некогда.

— Эй, бригадир! — крикнули с самой верхотуры. — Как быть с мотором?

— Иду, — гаркнул он басовито и рванулся к металлической лестнице. Взбежав наверх, бросил: — А вы к Саидмураду сходите!

— Кто это Саидмурад?

— Ха, кто такой Саидмурад? Штукатур! Знаменитый!

Елисейев скрылся в круглом, как иллюминатор, отверстии металлического корпуса электрофильтров. Я присел в тени башенного крана, на теплые, нагретые полуденным зноем рельсы и вытащил блокнот. Вдруг, совсем рядом, я услышал сердитый басок Аркадия Елисейева. Он шел откуда-то изнутри сооружения.

— Ладно, не суйтесь в мои дела!

— Так о тебе никто и не узнает. Ведь есть о чем рассказать! Посчитай, сколько строек за спиной — вся страна, — убеждал его тенорок.

— Не велика птица, чтобы обо мне знали. Абы дело не стояло, — и уже другим, спокойным голосом: — Ну, куда мотор суете? Надо же думать!

Закрыв блокнот, я встал и вдруг увидел Эдуарда. Он шел, решительно размахивая руками, воинственно сбочив голову.

— Вы куда? — спросил я его.

— Иду ругаться с начальством, — серьезно ответил он. — Вы ко мне не подходите, я сейчас злой.

Я проводил его взглядом до угла и отправился разыскивать Саидмурада.

* * *

Саидмурад Махмурахимов только что прибыл из Москвы, где участвовал в совещании бригад коммунистического труда в Кремле.

Он торопливо докурив сигарету, бросил окурочок и пошел в сторону вертикальных шамбассейнов, похожих издали на высокий элеватор с тремя бункерами. Подошел к штукатурам, сидящим в тени.

— Надо пять человек, — сказал он почти без акцента, хотя по голосу в нем безошибочно угадывался таджик.

— Для чего, бригадир?

— На шамбассейны.

Люди молчали. Саидмурад мог бы приказать, назначить на эту работу кого угодно. Но дело предстояло необычное и опасное. Три бассейна, каждый три метра диаметром и глубиной почти двадцать метров, надо было изнутри покрыть слоем жидкого стекла. Никакая механизация тут не поможет. Все надо делать руками. На улице термометр показывает 40, а в бассейне 60. Но работа неотложная... Ведь Нуреку нужен цемент!

Саидмурад решил сам штукатурировать шамбассейны, взяв туда только добровольцев.

— Я, — отозвался Григорий Добровольский.

Григорий совсем недавно вернулся из армии. «Один из миллиона двухсот», — в шутку говорил он о себе.

Вслед за Григорием отозвались Оскар Фер, Захид Файзов, Усман Абдулмаминов и Шариф Бабаев. Все молодые и смелые парни.

— Тогда в добрый путь. Пошли, — сказал Саидмурад.

Все встали и последовали за ним...

— Эй, на лебедках! — крикнул Саидмурад. — Давай люльку.

Над жародышащими зевами бассейнов повисли, покачиваясь, люльки.

— Опускай!

Люлька качнулась и стала погружаться в бассейн. У Саидмурада было такое ощущение, точно его опускали в огромную раскаленную печь. Он мгновенно взмок. Рубашка прилипла к спине, а сердце билось в глотке. «Выдержим или не выдержим? — думал он. — Должны выдерживать. Нужен цемент».

Люлька стукнула о конусообразное дно.

Саидмурад запрокинул голову и взглянул вверх. На высоте четырехэтажного дома, у кромки бассейна, торчали кукольные головки. Он дернул за бечевку: подать раствор.

Минуту спустя бадя плавно легла у его ног. Набрав раствор на «сокол», Саидмурад плеснул его на железобетонную стену и проворно стал натирать. Запахло жидким стеклом, едкой кислотой, на которой делался раствор. На лбу Саидмурада набухли крупные капли пота и ручейками потекли по лицу, въедаясь в глаза. На губах — соль. Поработав немного, он крикнул:

— Поднимай!

Выплыл из бассейна мокрый, будто только что из воды. Ребята молча смотрели на него. В глазах у них немой вопрос: «Ну, как?» Он ответил:

— Ничего, можно привыкнуть!

Разбившись на пары, ребята разошлись по люлькам.

Башенный кран опускал бадю, вытаскивал порожнюю. Выходя из бассейна, парни жадно хватали ртами свежий воздух и большими, гулками глотками пили холодный зеленый чай.

Но Григорию, человеку армейской закалки, духотища кажется нипочем. Отработав назначенное время, он еще остается в бассейне, срезая торчащие из бетона концы арматуры.

В жару день тянется неимоверно медленно. Двадцать второе, двадцать третье, двадцать четвертое, двадцать пятое, двадцать шестое...

А Григорий еще шутит:

— Не знал, что человек может пить, как лошадь.

Он работал без рубашки. Коричневое от загара, потное тело лоснится, точно смазанное жиром.

Но и он начинает сдавать. Его стала одолевать жажда. Он пьет кружку за кружкой.

— Иди, выкупайся, Гриша: пройдет,— советует Саидмурад. А сам пытается сбросить рубашку и не может. Она расплзается, как мокрая бумага. Он отбрасывает ее в сторону.

Вот и последнее тридцатое число. Ребята спускаются.

А вечер был тихим. Со стороны гор веял свежий, пахнувший разнотравьем ветерок. Вдали над гиссарским хребтом застыли малиновые разливы заката. У выхода со шламбассейна, дожидаясь смельчаков, толпились люди. Тут был и начальник строительства Бобылев, и секретарь партбюро Попов, и секретарь комитета комсомола Брик. Бобылев облегченно вздохнул и сказал Попову:

— Откровенно признаться, боялся я за них. Пытался прекратить работу. Куда там! Разве их остановишь.

Смельчаков окружила толпа строителей. Они крепко пожимали им руки, тискали в объятиях...

* * *

Воспользовавшись передышкой, Захид достал из кармана блокнот и карандаш, пристроился у дымохода и задумался. С крыши хорошо виднелась стройка. Ему хотелось выразить в стихах красоту этого сказочного зрелища, и ту радость, и счастье, которое оно ему доставляло. Горец Захид стал строителем и, естественно,— поэтом.

Кабул аз мо бифармоед
Саломи гарму чушонро,
Хазорон рахмату тахсин...

Где найти слова, которыми можно выразить чувства, теснящиеся в душе?..

— Захид, ты пойдешь на футбол? — некстати спросил Григорий.

— Не мешай,— отмахнулся Захид. На его лице застыло напряжение.

Через плечо Григорий заглянул к другу в блокнот, исписанный мелким почерком.

— Переведи. Может, что подскажу.

— Вот... Ну, как бы тебе объяснить...— проговорил Захид.— Вот начнет наш завод работать, будет много цемента, станут строить хорошие дома. Цемент — это хороший дом, канал, плотины, стройки. И, значит, наш труд получит вторую жизнь.

Григорий напряг лицо, стал что-то шептать, но, так ничего и не придумав, махнул рукой.

— Это чертовски трудное дело. Ты кому-нибудь из редакции покажи. Вот хоть этому товарищу...— Григорий махнул рукой в мою сторону...

Так люди открывались мне с совершенно неожиданной стороны. Завершится строительство, задымят трубы, все разъедется по новым местам. И, кто знает, может быть, вырастет из строителя знаменитый поэт и во весь голос скажет свое слово о забываемых днях семилетки.

— Эдик! — вдруг гаркнул Добровольский.— Постой-ка!

Эдуард шел мимо, опустив голову, будто что-то высматривал под ногами.

— Ну как? — Добровольский подбежал к нему.

— Круг замкнулся,— безнадежным голосом ответил Эдуард и разразился гневом:— Да разве пробьешь эту китайскую стену!

«Китайской стеной» оказалась волокита, которую подняли профсоюзные работники и руководители стройки вокруг культурных мероприятий.

— Дорогой мой, Э-эдик,— сказал Бобылев.— Да я бы вас золотом осыпал, но нет у меня такой статьи. Нет денег! Сходите к профсоюзному боссу...

Председатель комитета профсоюза Хегай сказал:

— Да я бы, ребятки... Но нет денег. Попробуйте-ка обратиться к шефам.

Шефы что могли сделать — сделали. Подарен приемник. У них на культурные потребности молодых строителей тоже нет статьи.

— Надо написать в газету,— предложил Захид Файзов.

— А что она сделает? — отмахнулся Эдик.— Денег-то нет.

Где же все-таки взять шестнадцать пар боти, трусов, маек и гетр?..

Когда я рассказал о плохой культурной работе представителю райкома комсомола, он в сердцах бросил:

— Клуб-то у них на что?!

Мы поднялись в клуб, расположенный на третьем этаже управления «Цемстрой». В большом зале все разворочено — идет ремонт.

— Раньше тут всё было,— категорически сказал представитель.

— Было,— согласился Эдик.— Иногда даже танцевали...

— Опять танцы,— усмехнулся Григорий.— Нам бы что-нибудь солиднее: кружок бокса, что ли. Уверяю, все ребята пойдут.

Товарищ из райкома комсомола сразу сник и пробормотал:

— Мы же постановляли о выделении тренера по боксу.

— А на что купить инвентарь?

— Где же ваш тренер?

— ?!

Поговорил с нами представитель райкома комсомола, сел на мотороллер, укатил. А потом он, видимо, забыл о шумной стройке, о ее строителях... Ведь культработа — дело неплановое. Сорвешь план — спросят беспощадно. А если неладно с культурной работой, пожурят и на том успокоятся.

И мне вспомнился Балувев, человек коммунистических воззрений, герой повести Вадима Кожевникова «Знакомьтесь, Балувев». Мне страстно захотелось, чтобы у всех начальников строительства лежала на столе эта книга рядом с проектным заданием.

Как-то я зашел в вагончик к Эдику.

— А-а, корреспондент,— обрадовался он,— заходите, не стесняйтесь.

Он повел меня к столу, налил стакан крепкого чая.

— Где же супруга? — спросил я.

— Отлучилась в магазин.

— Ну, что решили с кружкками?

— Что решили?— переспросил он.— Пока еще решаем. Отработаем восемь часов, а потом ходишь, организовываешь. Но ведь и ждать нельзя, пока кто-то дотумкается. Надо самим добиваться. Самим.

— А спортивный инвентарь?— напомнил я ему.

— Заработаем! Неужели не заработаем на этот несчастный инвентарь?..

— Заработаете.

— Сейчас иду к Бобылеву. Договорюсь о поднарядной работе. Как вы думаете, даст?

— Трудно сказать.

— А я не сомневаюсь. Даст...

В воскресенье собрались все комсомольцы. С лопатами, кирками, тачками... Поблескивали на солнце потные, загорелые лица, звенела песня. Над площадкой, которую очищали, стояло облако пыли.

В следующее воскресенье ребята снова вышли на стройку.

Захид Файзов в своей неизменной сетчатой майке, потемневшей от пота и пыли, загребал совковой лопатой щебень и забрасывал его на тачку.

Рядом работали Саидмурад, Димка, Спиридонов, парни из бригады Елисева, рабочие из бригады плотников, каменщиков.

И вот Эдуард восторженно сообщил:

— Ребята, есть восемь тысяч!

— Охо-хо! Восемь тысяч!

И вот наконец-то куплен футбольный комплект. Начались тренировки.

Для полного счастья не хватает только гетр,— сияя улыбкой, сказал Эдик...

Они были рады первой, пусть маленькой, но победе. Их ждало впереди еще много трудностей и много побед. Но начало, разбег был взят...

Пора уезжать домой. Я стою на холме и смотрю на гигантскую стройку.

Скоро ночь. Над стройкой уже затих шум моторов, ветер унес последние облака пыли, воздух посвежел. Зажглись многочисленные огни. Мимо идут строители. Приветствуя меня, как старого знакомого, проходят Лука Спиридонов, Эдуард Козлов, Саидмурад Махмурахимов, Захид Файзов, Аркадий Елисеев, Григорий Добровольский...

Как видите, я так и не нашел здесь героя своего очерка. Тут, как и в Сибири, в Поволжье, на Украине, живут, дерзают, трудятся наши самые обыкновенные люди. И так везде, по всей нашей великой стране Советов, похожей на строительную площадку,— обыкновенные, советские люди. И о каждом из них можно сказать: герой!

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ КИШЛАКА УСОЙ

(Очерк)

Кому хоть раз довелось побывать на Памире, тот навсегда сохранит самые яркие воспоминания об этом легендарном крае. Как море для поморов, так горы для памирцев — родная стихия, источник радости и вдохновенья.

С первого взгляда кажется, что на Памире и земли-то нет, только скалы да ущелья. А когда поднимешься повыше, увидишь иную картину: в ущельях пышно зеленеют сады и тополевыя рощи, на склонах гор — густые, тучные хлеба и великолепные альпийские травы. А сколько там самых диковинных цветов, ярких, нежных и пахучих! Они вплотную подступают к снежной зоне, будто совсем не боятся холода.

Незабываемы памирские речки — буйные, стремительные и голубые. Можно часами сидеть на берегу говорливой памирской реки, смотреть, как расточает она ласки обцелованным каменистым берегам, — и не соскучишься.

Но главное достоинство Памира — люди с удивительно чистой душой и большим, горячим, благородным сердцем.

Нигде, кроме Памира, не наблюдал я такого сердечного дружелюбия и уважительного отношения людей друг к другу. Вот уж где человек никогда не бывает одиноким в беде, даже если помощь связана с риском для жизни. Очевидно, его суровая и грозная природа порождает у людей чувство коллективизма.

Только на Памире мне привелось видеть такое любовное отношение к земле и такое большое уважение к труду человека. Первое легко объяснимо: в горах мало земли и каждый клочок посевной площади, что называется, — на вес золота. Труднее объяснить другое.

Как-то с дехканином из Шугнана мы шли по небольшому ущелью и любовались зеленым разливом хлебов. Поля были окаймлены изгородью, предохранявшей хлеба от поправки. И вот в одном месте, возле самой дороги, изгородь оказалась неисправной: в ней зияла брешь.

Мой спутник проворно скинул с плеч котомку и принялся поправлять изгородь.

— Это посева вашего колхоза? — спросил я.

— Нет, — отвечал он, — это хлеба не наши. Только для скотины безразлично, чей это хлеб. Она заберется и все испохабит. Она ведь не разбирает, что можно делать, а чего нельзя. И пропадет труд человека...

Он старательно залатал дырку в изгороди и только после этого мы двинулись дальше. Я смотрел на него и думал:

«С таким сознанием его хоть сейчас веди в коммунизм — годится».

Думается, что и это драгоценное качество памирцев — искреннее, трогательное уважение к чужому труду порождено условиями жизни в горах. Здесь труд земледельца несравненно тяжелее, изнурительнее, чем в любом другом уголке земного шара.

«Горы не терпят белоручек». Эти слова мне довелось услышать от седоволосого поливальщика Назарбека. Справедливые слова. Я не раз вспоминал их, когда наблюдал, как трудятся жители Памира.

Протянуть оросительный канал чуть ли не по отвесным скалам и подвести воду к участку; по невообразимым кручам перенести на себе собранный урожай хлебов и корма для скота; проложить по голым, крутым скалам тропу, перебросить мост через бешеную речку, соорудить каменный забор вокруг дома и огорода, — сколько всё это требует смекалки, умения и большого, тяжелого труда!

К тому же все эти работы до недавнего времени производились только вручную.

Так, сами природные условия сделали жителей гор трудолюбивыми, выносливыми, бесстрашными и сильными. А сильные и трудолюбивые люди всегда жизнерадостны. Оттого на Памире даже в самые горькие годы иноземного хозяйничанья не смолкала песня. Поэтому теперь в каждом, даже в самом маленьком кишлаке встретишь и музыкантов, и танцоров, и певцов, и сказителей.

Памирцы любят рассказывать о своем крае. В горах много живет разных легенд и сказаний. Но эти легенды, как правило, покоятся на достоверных фактах и отражают действительные условия жизни горцев.

Каждый раз, бывая на Памире, я открывал новые неведомые мне ранее явления жизни, находил новых интересных людей, беседа с которыми делала меня душевно богаче. Вот и на этот раз совершенно неожиданно встретился мне человек, который рассказал эту удивительную историю...

Я сидел на берегу Гунта и глядел, как скачет, брызжет, пенится разбалававшаяся речка.

— Салом алейкум! — раздалось у меня за спиной.

Я повернулся и увидел невысокого старика в коричневой тубетейке, зеленых штанах и синей рубашке, подпоясанной ремешком. На ногах у него были парусиновые полуботинки, а в руках он держал веревку и урак (серп). Он подал мне жилистую, загорелую руку. Я пожал шершавую ладонь старика и вопросительно взглянул ему в лицо. Старик поспешно объяснил:

— Здешний я. Вон там, за деревьями, возле скалы мой дом. Пойдемте ко мне — чаем угощу. Чего сидеть здесь под таким солнцем.

И вот мы сидим на зеленом лужке, перед аккуратным каменным домиком. Шумят умытые дождем, стройные тополя. Мы пьем густой, пахучий китайский чай со свежей малиной и сладкими лепешками.

— Угощайтесь, пожалуйста, эта малина из моего огорода. Я ее завез из хоргского ботанического сада. Очень вкусная. — И по лицу старика мелькнула горделивая улыбка.

Моего нового знакомого звали Мусофир. Несмотря на свои семьдесят лет, он был очень энергичен, подвижен и по стариковски говорлив. Мы только-только познакомились, а он уже рассказал мне о нынешней беспутной весне, принесшей горцам много беспокойства, о видах на урожай, о том, что воды нынче в речках много, а овцы дали хороший приплод. Рассказал и о колхозной жизни, и о том, что через реку строятся новый мост.

Видя, что все это меня интересует и я время от времени что-то заночую в блокнот, Мусофир говорил все охотнее. Когда же он узнал, что я из газеты, то сразу поспешил заинтриговать меня.

— Вот если бы вы заночевали у меня, я бы рассказал вам такое, чего никто не расскажет... Об этом знаю только я... Один только я...

Старик губоко вздохнул; с минуту молча глядел куда-то вдаль, и видно было, что он действительно хочет рассказать что-то очень важное. Я согласился переночевать у гостеприимного горца.

У Мусофира трое взрослых сыновей. К одному из них ушла погостить жена Мусофира — Одинамо. Дома со стариком остались две дочери: Гульномо и Лалбегим. Обе незамужние, статные и молодые.

Чернокосая Лалбегим встретила меня солнечной улыбкой и бойким рукопожатием. Она любезно угощала нас чаем, шурпой, катыком, жареной говядиной и горячими лепешками. Весь вечер Лалбегим смеялась и ни на минуту не присела.

Гульномо на два года старше ее, застенчивая, немного грустная, но с делами управляется ловко и уверенно. За весь вечер она только раз подошла к нам с подносом свежей сочной малины, черной смородины и золотистых абрикосов. Поставила поднос и тихим бархатным голосом сказала:

— Попробуйте, пожалуйста, может, что понравится. Это наше, памирское...

Слегка улыбулась, мельком глянула в мою сторону, тут же опустила глаза и бесшумно ушла.

Мусофир рассказывал мне о памирской жизни, расспрашивал о моей работе, о житье-бытье, с горечью говорил о том, что ему так и не довелось научиться грамоте. А потом с откровенной тревогой вдруг спросил:

— Неужели все-таки будет война?

Спать мы устроились на густой зеленой траве, у подножья скалы. Мусофир повесил мою одежду на колышек, вбитый в расщелину, и улегся рядом.

Вечер был свежий и тихий, пахло смородиной и цветами. Издали чуть доносился шум неумолчного Гунта. Тихо ночью в горах. Горы не знают ночного шума. Горцы не любят ночных тревог.

— Вы про кишлак Усой что-нибудь знаете? — обратился ко мне Мусофир.

— Нет, ничего не знаю, — признался я.

— И про усойский завал не слыхали?

И опять я не мог обрадовать своего собеседника.

— Но уж про Сарезское-то озеро вы наверняка знаете? — продолжал допрос Мусофир. В его голосе слышалась досада.

— Да, — обрадовался я, — про Сарезское озеро читал. Оно образовалось после землетрясения в горах...

— Так вот, кишлак Усой, — продолжал Мусофир, — это моя родина, там я увидел свет и на ноги встал. Усой стоял на берегу реки Мургаб, в просторном красивом ущелье, в зарослях тополей, ивы, абрикосов и черешни. Небольшой был кишлак, семей тридцать в нем жило. Но жили мы не так уж плохо, с нуждой не особенно знаясь. Землицы было хоть и немного, зато она лежала возле реки и мы ее щедро поливали. Потому она и давала хорошие урожаи. Скот был у всех, а волки к нам не заходили. Так что скот был в полной безопасности. Фрукты собирали, бахчу растили... Да еще надобно иметь в виду, что жили мы далеко в горах, путь к нам был долог и опасен. Потому-то чиновник эмира редко заглядывал в наш кишлак. Стало быть, и налогов всяких с нас брали меньше, чем с других. Одним словом, жили мы сносно и каждый вечер над нашим кишлаком кружились песни.

Да, вот еще чего никогда не забуду — петушиную переключку по уткам. В каждом хозяйстве были куры и по два-три петуха. Сейчас вот мы с удовольствием едим куриные яйца, а тогда их не ели, выбрасывали. Не знаю, почему так было, но кур держали только ради петухов. Они звонко пели на утренней заре, наполняя кишлак какой-то удивительной бодростью, оживляя его. Петухи в то время заменяли нам часы, которых в кишлаке ни у кого не было.

Хорош был наш кишлак, что и говорить. В нем всегда находила уют человеческая радость... Как сейчас помню февральский вечер тысяча девятьсот одиннадцатого года. Тихий, теплый вечер, наполненный тонким ароматом приближавшей весны. На открытой террасе, возле дома усатого Назаршо, сидели кишлачные парни Мирсаид, Натмет, Мирзо и с ними их товарищи. Говорили больше всего о женитьбе.

У Мирзо дело было, как говорится, на мази. Через пять дней должна была состояться его помолвка с чернобровой Ибодат. Об этом знал весь кишлак, и все к этому готовились. Парень был счастлив, но виду не показывал и вообще — молчок об этом. Зато не молчали мы, и каждый старался проехаться насчет Мирзо.

— Только вы обязательно возвращайтесь к этому дню, — уже в третий раз напоминал нам Мирзо.

— Непременно вернемся, — отвечали мы хором.

Дело в том, что на следующий день мы, Мирсаид, Натмет и я, должны были идти в кишлак Сарез, что стоял выше Усоя на реке Мургаб. До Сареза почти день пути. Когда дорога портилась, туда нелегко было добраться. С гор то и дело падали камни. Мать упростила меня сходить, проведать дядю, ее брата, и передать ему, что в Усое можно купить хорошую корову. У дяди коровы не было: недавно она сорвалась с кручи. А без коровы с четырьмя малымя детьми не проживешь.

Мирсаид и Натмет шли в Сарез тоже с какими-то поручениями родителей. Мы условились отправиться в путь пораньше, чтобы засветло добраться до Сареза.

Когда мы собирались расходиться по домам, до нас донеслась удивительно звонкая песня. Пели в чайхане, где ярко горел огонек. Мы поспешили туда. Чайхана была переполнена. В середине сидели почтенные старики, а рядом музыкант и певец. На домбре играл Ашрафбек, а пел всем известный Мирсултан, лучший певец в округе.

В тот день не было никакого праздника, но у Мирсултана родился сын. Вот он и веселился.

Я уж не помню песен, которые он пел, помню только, что в одной из них речь шла о величии человека, о его могуществе, о его призвании быть властелином вселенной. Вспоминаются такие слова из песни:

Человек народился, дорогу ему!
Человеку подвластна земля одному.

Долго в тот вечер не умолкала песня и звон домбры. А небо было звездное-звездное и луна, казалось, вылезла из-за гор специально для того, чтобы поглядеть, подслушать, разузнать, что делается в кишлаке и почему так долго не спят дехкане.

На утро я поднялся на рассвете. Мне не хотелось будить мать. Накануне ей что-то нездоровилось. Я тихонько оделся и, взяв приготовленный в дорогу сверток с едой, направился к выходу. Но, правильно говорят, что сон матери прозрачен, как стекло. На мое плечо легла теплая, ласковая рука, а над ухом послышался родной голос: «Закуси, сынок, так нельзя идти в дорогу».

Через минуту я уже завтракал. Мать сидела возле меня и напутствовала:

— Аккуратнее иди по оврингам. Остерегайся обвалов. Не спеши. На прощанье она нежно поцеловала меня и благословила, прошептала:

— Храни тебя аллах.

Набожная была у меня мать.

Утро было тихое, свежее, ясное. Во всех уголках кишлака голосили петухи, словно намереваясь перекричать друг друга. Едва я отошел от кибитки, как встретил Мирсаида. На нем был новый халат, а на голове красивая пестрая чалма. «Что это он так вырядился?» — подумал я. Но тотчас же вспомнил, что на окраине кишлака, как раз в той стороне, куда нам надлежало идти, жила его зазноба — Энахон.

Пока мы с Мирсаидом здоровались, расспрашивали друг друга о самочувствии и здоровья, к нам присоединился Натмет.

— А я вас уже целый час жду, хотел было идти будить, думал, вы еще дрыхнете, — залпом выпалил он.

— У тебя, видно, бессонница, как у стариков, — отшучивался Мирсаид.

Проходя мимо дома Энахон, Мирсаид замедлил шаг, начал покашливать и поглядывать в сторону маленького окошка под ветвистой яблоней. В окне показался девичий силуэт. Мирсаид помахал девушке рукой. Вдруг из-за забора выглянул Джабар — отец Энахон. Мирсаид моментально сделал серьезное лицо и, степенно поклонившись ему, произнес:

— Салом алейкум!

Джабар ответил на приветствие и спросил, куда мы держим путь.

— В Сарез! — ответили мы хором.

Усой остался позади. Мы вышли на узкую тропинку и пошли вверх, навстречу холодной и быстрой реке Мургаб.

Отойдя километра полтора, мы остановились на крутом повороте тропы и полюбовались на свой кишлак. Одной стороной он подходил к реке, другой прижимался к скалам.

— Красив наш Усой, — проговорил Мирсаид, — а может стать еще красивее. Вот если бы возле скал были такие же деревья, как и около реки. Как бы они украсили кишлак!

— А ведь там много воды и деревья могут хорошо расти, заметил Натмет. — Просто никому в голову не пришло посадить деревья.

— А знаете что? — снова заговорил Мирсаид и на его лице заиграла улыбка. — Давайте нынешней весной посадим там деревья. Целую рощу посадим. Тополей, ив, карагачей. Давайте? Там каменный грунт, но деревья будут расти.

— Хорошая мысль! — подхватил Натмет.

— Очень хорошая! — поддержал я.

В Сарез мы пришли засветло. Настроение у нас было хорошее, хотя мы изрядно устали. Сарез встретил нас собачьим лаем и запахом дыма, который вился над каждой кибиткой: здесь было прохладнее, чем в Усое: Сарез находился значительно выше. Спать тогда ложились сразу же, как стемнеет. Ламп не было, об электричестве никто из нас в то время и не знал. Масляную плошку и ту зажигали только в какой-нибудь праздничный вечер или по нужде.

Сарез был побольше Усоя и попросторнее. И земли здесь было больше нашего. И люди одевались как-то по-своему. Сарезские мастера шили красивые белые халаты с темной отделкой. Шили, конечно, из домотканной материи. В таком халате, подпоясанный пестрым кушаком, сарезец выглядел нарядно.

Едва мы приблизились к первой кибитке, как из-за каменного забора выскочил здоровенный рыжий пес. Он выскочил с явно недобрыми намерениями, но лаять не стал. Остановился посередине дороги, по-

смотрел на нас своим умным собачьим взглядом и, отойдя вправо, сел у дороги. Глядел и молчал, а в глазах его было столько любопытства, что, казалось, он вот-вот спросит: «Кто такие, к кому идете?»

— Гляди, какой умница, — заметил Натмет.

И словно в ответ на эти слова с двух сторон выскочили огромные псы и залились таким истошным лаем, что хоть уши затыкай. А рыжий пес безглаголиво глядел на своих горластых собратьев и на его мирной, беззлобной морде можно было прочесть: «И на кого орете, дурачье?»

В доме дяди Умета меня встретили тепло и радушно. Хозяева угощали всем, чем могли, и расспрашивали меня обо всем на свете. Помню, дядя даже спросил, сколько за прошлый год в Усое народилось и сколько умерло людей. Пришлось заниматься подсчетами. Его интересовало, нет ли падежа скота, у всех ли есть хлеб, сколько за зиму сыграли свадеб, здоров ли жеребец у Салима и много ли в Усое голубей.

Мы беседовали очень долго. Сидели возле сандала и пили горячий душистый чай.

— Дорога в Усой, говоришь, сносная? — дядя Умет посмотрел на меня вопрошающе.

— Сносная, — подтвердил я, — и обвалов еще нет.

— Ну, тогда отсюда пойдем вместе, — заключил дядя Умет. — Корова нужна. Без коровы нельзя. Какая же она, корова-то, рыжая?.. Или черная?

Я отпил глоток чая и хотел было сказать, что корова красноватой масти, как вдруг меня что-то сильно качнуло. Пиала стукнула по зубам и горячая струя чая полилась за ворот рубахи. Я оперся было на левую руку, но меня так качнуло вправо, что я даже выронил пиалу.

На улице жалобно завывали собаки. Всё вдруг зашевелилось, закачалось, зашаталось. С полки свалились какие-то банки, с потолка посыпался сор, песок. Я еще пытался сообразить — что же это такое? — когда раздался страшнейший грохот. Ах, что это был за грохот! Никогда в жизни я не слышал ничего подобного: казалось, что тысячи тяжелых железных арб пронеслись по гребням гор.

Грохот продолжался всего несколько минут, но эти минуты показались мне вечностью. Затем все стихло, и только земля еще долго вздрагивала, словно ее лихорадило, как тяжело больного. С гор летели камни.

Жители Сареза не спали в ту ночь. Да и как уснешь, если не знаешь, что будет через минуту, через час. Все было ясно: где-то недалеко произошло землетрясение. Оно оставило свои следы и в Сарезе. Потрескались стены, кое-где повалились дувалы, в двух кибитках рухнула земляная крыша. Все догадывались, что катастрофа случилась где-то ниже Сареза. Но где? И что там произошло? До рассвета вряд ли что узнаешь. Ночь стояла темная, в двух шагах ничего не было видно.

Всю ночь сарезцы не заходили в свои кибитки. На улицах разложили костры, вокруг них расстелили паласы, постели, люльки. Спали только маленькие дети, все остальные бодрствовали.

О чем только не говорили люди в ту долгую ночь возле костров! Каких только предположений не высказывали. Говорили, конечно, и о том, что это аллах прогневался на людей, что люди стали мало о нем думать. Вот всемогущий и решил наказать людей.

Скверно, очень скверно, было у меня на душе. Какое-то тяжелое предчувствие сжало сердце, страшные догадки приходили в голову. До самого утра я бродил по кишлаку, как помешанный, и все прислушивался, присматривался, раздастся ли голос, не засветит ли огонек

со стороны Усоя. Мне казалось, что этот грохот исходил именно со стороны Усоя. Но в той стороне было зловеще тихо и темно.

Когда стало светать, мы с трепетом начали вглядываться в ту сторону, откуда вчера доносился гром. И вот что мы увидели: внизу, в стороне Усоя стоял, загородив все ущелье, громадный желтый столб. Казалось, он подпирает небо. «Что за чудо?» — думали мы. Вскоре мы направились в ту сторону. Пошли почти все мужчины Сареза. Но к самому столбу не подошли — побоялись.

— Кто знает, что это такое? — подал кто-то мысль. — И все остановились, а потом решили подождать до завтра. Может, столб исчезнет и ущелье откроется.

Но и назавтра столб не исчез. Мы снова направились по вчерашним следам. Совсем близко подошли к нему. Это километрах в семи от Усоя. Перед нами возвышался плотный коричневый заслон. Какая-то густая дымовая завеса перегородила ущелье, и границы этой завесы очень отчетливо вырисовывались на белоснежных склонах гор. Никто не посмел проникнуть вглубь завесы. Она грозной стеной преграждала путь. От нее пахло сыростью и пылью, а снег по краям завесы заметно пожелтел.

Ни с чем вернулись мы и на этот раз. Все недоумевали и беспомощно разводили руками.

Вечером подул ветерок. Он дул с востока, от Сареза на Усой. Этого-то нам и хотелось. «Ветер развеет завесу и откроет Усой», — радовались мы. И действительно, когда наступил рассвет, мы не увидели никакого столба. Небо было чистое и путь на Усой открыт.

Мы немедленно отправились на дорогу, прихватив с собой несколько кетменей, кое-что из продуктов и несколько теплых одеял. На месте завесы ничего не было. Только снег там был не белый, а какой-то коричневатый. Мирсаид пустил в дело кетмень и сразу стало ясно: снег покрыт толстым слоем жёлтой пыли.

Пошли дальше. Прошли несколько километров, миновали крутой поворот, вышли из-за скалы и вдруг перед нашими глазами возникло озеро. Большое, зеленое озеро.

— Что такое, откуда взялось здесь озеро? — воскликнул Натмет.

Остановились, взгляделись вдаль и вскоре всё поняли. Впереди, километрах в двух, ущелье перегородил громадный каменный завал. Река остановилась и образовала озеро. Оно уже протянулось километра на полтора вверх и разлилось в стороны.

— А где же Усой? — с тревогой вымолвил побледневший Мирсаид.

Ему никто не ответил. Отвечать было нечего. Никто не проронил ни слова, все только вздыхали и беспокойно смотрели вдаль. Каждый боялся высказать вслух то, что таилось на сердце. Так молча и пошли мы в обход озера, распрошавшись с тропой, которая уходила под воду. Идти стало труднее, склоны ущелья местами были крутые, легко было сорваться и полететь в воду. Но все же мы благополучно достигли края завала. Он не был отвесным, поэтому нам без особых трудов удалось подняться на самый гребень. Впереди — свежие каменные глыбы, которым, казалось, не будет конца. Мы уже сильно устали, но никто и не думал останавливаться, нам хотелось как можно скорее достигнуть кишлака Усой.

Вот уже совсем близко знакомая скала, против которой, внизу, стоит Усой. А завал все не кончается... Неужели?.. Мы уже не шли, а бежали, и впереди всех бежал Мирсаид. Он давно сбросил свою цветистую чалму, распоясал халат, чтобы легче было дышать. Его гибкая фигура то исчезала за скалами, то вновь появлялась. Но вот он вбежал на самый гребень завала, остановился и.. душераздирающий вопль огласил безмолвие знакомых гор. Это кричал Мирсаид. Когда мы под-

бежали к нему, он сидел на камне, зажав между коленями голову, и громко рыдал...

Никто не спрашивал, в чем дело. На месте кишлака лежали глыбы обрушившихся гор. Глыбы, толщиной в несколько сот метров. Под ними был погребен Усой... Кишлак погиб. Погибли и все его жители. В этом нельзя было сомневаться. Все произошло за несколько минут, а чтобы уйти от обвала, надо было преодолеть расстояние в полтора-два километра, да еще на подъем...

...Мы плакали, как никто никогда не плакал раньше. Плакали все, не только мы, усойцы — Мирсаид, Натмет и я. Слишком страшно всё это выглядело, чтобы сдерживать слезы. Слишком велико было наше горе, чтобы не обратиться к слезам! Мы плакали и проклинали аллаха за то, что он обрушил на Усой такую страшную беду.

— Разве же ты аллах, если предал смерти весь кишлак вместе с невинными младенцами, которые только что увидели свет! — кричал Мирсаид, вздымая руки к небу. — Как тебе верить, за что тебя уважать?

Долго мы сидели на каменной могиле своего кишлака и не переставали рыдать. Никак не верилось, что никогда больше мы не увидим родных мест, родителей, друзей. Я сквозь слезы смотрел на глыбы камней, и мне казалось: вот-вот они раздвинутся и оттуда, из глубины завала, покажется мать. Выйдет и спросит:

— Ты что же, сынок, не идешь домой?..

У Мирсаида не было родителей; отец и мать его умерли, когда ему было лет семь-восемь. Он воспитывался у дяди, который помер два года назад. Вслед за ним умерла и его жена. Детей у дяди не было, так что Мирсаид был совсем одинок и жил с каким-то старичком, дальним родственником по матери. Но у Мирсаида в Усое была любимая девушка — Энахон. Он в ней души не чаял; видимо, они уже имели тайную договоренность соединить свои судьбы.

Первым заговорил Мирсаид:

— Знаешь, Мусофир, — тихо сказал он, — мне все еще кажется, что это какой-то сон. Мне снится, что вот сейчас разойдутся те два обломка скалы, что прижались друг к другу, и оттуда появится Энахон. Выйдет, поправит косы, улыбнется и скажет своим бархатным голосом:

— Здравствуй, Мирсаид!

Я посмотрел на друга и увидел две большие слезинки, которые ползли по его лицу. Я ничего не ответил Мирсаиду. Разве можно было сказать ему, что он уже никогда не увидит свою Энахон?

— А послезавтра, — продолжал Мирсаид, глядя куда-то вдаль, — у Мирзо должна была состояться помолвка с Ибодат. Как он просил нас вернуться к этому дню! Вот мы вернулись, а его нет... И не будет никакой помолвки. Не будет...

А слезы уже катились по его подбородку.

— У меня в голове как-то все перемешалось, — заговорил Натмет. — Словно я сошел с ума. Копаются там всякие мысли, одна другой страшнее. И ни о чем не могу думать. И вот еще — Мирсултан не выходит из головы. Как сейчас слышу звуки домбры и его звонкий, серебряный голос. Сына славил, радость души изливал, а сыну довелось прожить только два дня. Всего два дня...

И снова безмолвие.

— Вот что, братцы, — нарушил тишину дядя Умет из Сареза, — плакать можно долго, да только что в этом проку? Не вернешь слезами ничего.

Он подошел ко мне, положил руку на мое плечо, взглянул в мои полные слез глаза и продолжал:

— Знаю, сынок, тяжело тебе. И мне не легко. Всем нам больно. Но беда есть беда. Её не поправишь, ее можно только пережить да забыть поскорее. Человек все переживет, все вытерпит. И ты вытерпишь. И Мирсаид, и Натмет — тоже вытерпят. Иначе нельзя. А теперь давайте-ка подумаем, где будем ночевать? В Сарез мы уже не доберемся, скоро ночь.

Мы хорошо знали окрестные горы и вскоре привели всех к зеленоватой скале, в которой имелась глубокая пещера. Мы часто прятались в ней от дождя. Теперь она должна была укрыть нас на ночь. Дядя Умет первым направился было в пещеру, но вдруг остановился: из глубины послышалось злое рычание. Не успели мы подумать, кто бы там мог быть, как раздался пронзительный лай.

— Ба, неужели это Джульбарс? — изумился Натмет и окликнул собаку по имени. Та молнией выскочила из пещеры и прыгнула на грудь Натмета. Это была его собака — перепуганная, истосковавшаяся по людям, голодная. Как она осталась в живых — никто не знал.

— Видно, в то время собаки не было в кишлаке, потому и уцелела, — высказал кто-то мысль и с ним все согласились.

В пещере мы разожгли костер, немного согрелись, закусили и улеглись отдыхать. Все это было сделано молча. Никогда больше я не видел, чтобы три десятка людей провели вместе целую ночь, не пролив ни слова.

На следующий день мы тщательно осмотрели все окрестные места и не нашли больше ничего живого. Хмурые и подавленные, возвращались мы в Сарез. Озеро за сутки вытянулось в длину еще метров на двести. Оно двигалось к Сарезу. Дядя Умет остановился у озера, глядел на его голубую гладь и с грустью сказал:

— Усой раздавили горы, а наш Сарез затопит вода. Вот увидите, летом придет это озеро в Сарез и нам придется куда-то уходить. Где найдешь кусочек свободной земли?

В голосе его звучал страх. Все молчали.

Дядя Умет оказался прав. В конце лета коварное озеро подкатилось к Сарезу, и сарезцам пришлось уходить из родного кишлака. Навьючили они на яков, лошадей, ишаков что можно было увезти, и отправились кто куда. Одни к Бартангу, другие к Мургабу, третьи в сторону Гиндукуша. Дядя Умет и еще десятка полтора семей, в том числе и мы с Мирсаидом, поехали в верховья Гунта...

Мусофир умолял, несколько раз тяжело вздохнул. Я забеспокоился, что старик уснет и недоскажет этой страшной истории. Но он приподнял голову и продолжал рассказ:

— Что было потом? Об этом мне горько говорить. Тяжело было. Жили плохо. Голодали, ходили босые и полураздетые даже зимой. И никому до нас не было дела, неоткуда было ждать помощи. В верховьях Гунта, высоко в горах, нашли несколько клочков незанятой земли. Лето там короткое, ни зерно, ни овощи не созревают. Скот кое-как кормили, а себя кормить нечем. Ну, и пошли в батраки к баям. Стали работать на других, чтобы самим не умереть с голоду.

Много я сменил хозяев, много походил по чужим домам. И не раз думалось мне, что родители не случайно дали мне имя Мусофир — это значит человек, живущий на чужбине, бездомный скиталец. Вот таким бездомным, нищим я и был...

Мирсаид недолго прожил на чужбине. Он скоро помер. Смерть скосила и других людей из Сареза. И дядя Умет умер, и жена его, и двое детей. А я вот выжил...

Только и я не прожил бы долго, если бы не пришла Советская власть. Спасибо ей. Она поставила нас, бедняков, на ноги. Разве теперь такая жизнь? Теперь — жить да жить, всё есть, ни в чем нужды

не видишь. Как начали сообща работать, так и жить стали совсем по-другому. Теперь на жизнь грешно жаловаться. Только работай, не ленись, и все у тебя будет. И одежда, и обувь, и еда. О такой жизни мы раньше и не мечтали...

Старик снова умолк, будто раздумывая, что бы еще оказать про свое старое и новое житье. Я воспользовался этим и спросил, был ли он потом на Сарезе.

— Был, как не быть,— отвечал Мусофир.— Несколько лет спустя ходил на свою родину, помянул отца с матерью, да шестерых братьев. Два дня бродил по завалу. Тяжко было вспоминать про это.

— А озеро видели? — допытывался я.— Говорят, оно очень красивое.

— Видел и озеро. Большое. Сарезским оно называется, по имени кишлака Сарез, который проглотило. Сарезское... А я бы назвал его людоедским. Ведь родилось-то оно на людских костях!

Я спросил про Натмета: жив ли он?

— Нет,— отвечал Мусофир,— умер два года назад в Бартанге. Теперь из Усоя только я один и остался. Больше никого нет. Вот умру — и никто не расскажет про Усой. Позабудут и место, где стоял кишлак. Все забудется...

Последние слова Мусофир произнес печально, с дрожью в голосе. Я подумал: «Не хочет старик умирать, не хочет». Мусофир будто подслушал мои мысли, не замедлил их подтвердить.

— Стар вот стал. На восьмой десяток перевалило. А помирать не хочу. Зачем помирать, коли жить так вольготно...

Вскоре старик уснул. А я долго еще не спал и все думал о судьбах людей. По-разному складывается человеческая жизнь. У одних она долгая, но тяжелая и однообразная. У других — яркая, красивая, но короткая, как утренняя заря. А третьи умирают в самом начале жизни, прожив всего два дня. Почему так?

Я уснул, так и не ответив на свой вопрос. А когда проснулся, солнце стояло уже высоко. В полдень мне нужно было быть в Хороге. Я наскоро напился чаю и стал собираться в путь. Мусофир попытался угостить меня еще погостить у него. Но я отказался.

Подошла Гульномо и протянула поднос с яблоками.

— Возьмите, пожалуйста, на дорогу.

Было невозможно отказаться, и я взял пяток яблок.

— А где же Лалбегим? Я хочу попрощаться с нею.

— Лалбегим ушла за малиной,— отвечала Гульномо.— Ей очень хотелось угостить вас свежими ягодами.

— Как жаль, что я не смогу пожать ей руку,— сказал я с искренним огорчением и попросил Гульномо передать сестре мой привет.

— Она тоже будет очень сожалеть,— заметила Гульномо.— Ей о многом хотелось поговорить с вами. Приезжайте к нам еще.

Я обещал приехать и непременно сдержу свое слово.

Мусофир проводил меня до дороги. Мы расстались с ним, как старые друзья. Отъезжая, я несколько раз оглядывался. Последний из Усоя стоял возле скалы и махал мне тюбетейкой.

Горы стояли строгие и молчаливые. Ни на минуту не умолкал громкий говор реки. Она напоминала мне старую торговку ягодами, у которой, говорили, язык не переставал работать даже во время сна.

Над Памиром разгорался солнечный день.

Два ДРУГА

(ПОВЕСТЬ)

Повесть эту Салим-амак* начал с тех незапамятных времен, когда был он здоров и молод и только шагнул в жизнь, совсем не идиллическую. Судьба занесла его за тридевять земель, за жаркую пустыню и грозное Хазарское** море, выбросив, как волна ракушку, в Баку...

Встреча

...Летняя ночь только кончалась. Море было еще черным, и на его тронутую рябью поверхности плясали тусклые отражения фонарей. Пароход «Ленкорань» должен был придти утром, но амбалы*** уже толпились на пристани. Привела их сюда надежда заработать копеек двадцать—тридцать на жалкий ужин, который был зачастую одновременно и завтраком, и обедом. Амбалов всегда оказывалось больше пассажиров. Те, кому ничего не доставалось, с завистью провожали взглядом своих счастливых товарищей и брели, понурирав головы, на базары и к магазинам: авось, подвезет там...

В то утро, оставшись не у дел, я растерянно оглядывался вокруг, не зная, куда пойти, как вдруг передо мной выросла огромная фигура молодого курда с открытой веселой улыбкой на мужественном лице, обрамленном черной курчавой бородкой. Видно, он был атлетом недюжинной силы. И вместе с тем — ловок и подвижен. Все это в сочетании с острым и цепким взглядом безошибочно выдавало в нем горного охотника.

Курд улыбался, обнажив ослепительно белые зубы. Едва сойдя на пристань, он сразу же заметил во мне земляка и зашагал навстречу. Судя по улыбке, он, видимо, только вчера расстался с вольным воздухом гор и лесов своей родины.

* Печатается с сокращениями.

** Хазарское море — Каспийское.

*** Амбал — искаженное «хаммол» — грузчик, носильщик. В Баку и других городах Азербайджана носильщиков и грузчиков до сих пор называют амбалами.

— Тюрк, таджик? По-курдски говоришь?—спросил он непринужденно.

Я сказал, что владею всеми тремя языками. Великан, выразив на лице радостное изумление, положил мне руку на плечо.

— Чего же мы ждем? Пойдем посидим где-нибудь в чайной, поговорим, может быть, вместе будем бродить по чужой стороне.

— Я жду одного человека,—ответил я, не желая признаваться, что в карманах у меня нет и гроша.

Но курд не уходил и вначале на фарсидском, а потом на родном, курдском языке стал меня расспрашивать о Баку, о том, можно ли здесь устроиться на работу и какие тут заработки...

Наша беседа затянулась. Мой новый знакомый все-таки утащил меня в город. Мы зашли в столовую. Он заказал жирный суп-питу* сразу на четверых. Я спросил, почему так много.

— Съедем,—ответил он.

Как ни был я голоден, но больше одной порции не одолел. Зато курд без труда справился со всем остальным, запил его чолобом** и расплатился.

Мы вышли на улицу. Было уже жарко. Я пригласил курда к себе в хижину. Навстречу нам катил фаэтон, запряженный парой сытых, горячих коней. Поравнявшись с нами, кони вдруг встали, крутя головами и позванивая отделанной серебром сбруей. Из фаэтона высунулся толстяк в роскошной одежде, подпоясанный широким золотым поясом. Поперек живота тянулась золотая цепь от часов, массивные золотые кольца облепили жирные короткие пальцы, державшие серебряный набалдашник трости.

— Эй, земляк, иди сюда!—сказал он по-азербайджански.

Земляками — «хамшахри» — бакинцы называли персов; так же они обращались и к амбалам, большинство которых было выходцами из Персии и Южного (иранского) Азербайджана. Поэтому, ни секунды не колеблясь, я поспешил к фаэтону.

— Нефть тащить будешь?—спросил толстяк.

— Буду.

— Пять шох³ в день, при условии, что накачаешь пятьдесят пудов. Согласен?

— Согласен.

— Садись.

Мой новый знакомый стоял в стороне. Я оглянулся, а хозяин, поймав мой взгляд, спросил:

— Кто такой?

Я ответил, добавив, что и он не откажется от работы. Толстяк рассмеялся, поманил его пальцем и сделал знак садиться рядом со мной.

Лошади понесли. Хозяин откинулся на сиденьи и то поглаживал унизанной кольцами рукой свои жидкие усы, то играл тростью с серебряным набалдашником, то доставал массивные золотые часы и прикладывал их к уху, наслаждаясь малиновым звоном... словом, всячески старался показать нам, что мы имеем дело с богатым человеком. Курд, незаметно толкнув меня локтем, сказал:

— Он только обзавелся деньгами, с таким счастьем не найти.

Хозяин не понимал по-курдски и спросил меня, что сказал мой друг. Я ответил первое, что пришло в голову.

— Скоро мы оказались за городом, в пустынной местности, где стояли

* Суп-питу — суп из жирной баранины, заправленный горохом и приготовленный на медленном огне в специальных глиняных горшочках.

** Чолоб — прохладительный напиток из разведенного водой пахтанья — сыворотки, остающейся при сбивании коровьего масла.

* Шохи (азерб.) — пять копеек.

какие-то низкие каменные строения. Фазтон долго кружил между этими строениями, пока наконец не въехал в большой двор.

Во дворе не было даже навеса, под которым можно укрыться от палящих солнечных лучей. Посреди двора—выложенный черным мазутным камнем хауз* и колодец с большим колесом. С одной стороны виднелась каменистая степь, а с другой стояли такие же голые кирпичные стены. Вокруг словно все вымерло, только горячий ветер кружил в степи песок, да по знойному небу лениво плыло небольшое облачко.

— Хамшахри, как тебя зовут? — спросил хозяин.

— Салим.

— Гляди, Салим, вот колодец и вон хауз. Сколько накачаешь из колодца нефти, сливай ее в этот желобок, она сама потечет в хауз. Пятьдесят пудов—одна бочка. Хочешь получай за каждую бочку, хочешь сразу за несколько бочек—твое дело. Я буду приезжать сюда каждый день или через день. В хаузе ровно сто пятьдесят пудов.

— Хозяин, а где же здесь найти хлеб и воду?

— В городе, или где захочешь... Вода есть в нижнем селе. Купишь и принесешь в кувшине. Хлеба тоже много в окрестных селах...

Курд, видно, понял по выражению моего лица, что я колеблюсь.

— Соглашайся,—сказал он,— вдвоем поработаем.

Хозяин уехал. Солнце припекало все жарче, но делать нечего — надо работать. Я снял рубашку и брюки, разулся и подошел к колодцу. Сама железная бадья весила не менее пуда. Она с таким скрежетом и воем провалилась в колодец, что у меня заболели уши. С металлического стержня, на который было насажено колесо, посыпались искры. Я схватился за ручку и начал быстро вытягивать бадью. Но уже через мгновение пришлось резко замедлить темп. Восьмипудовые тюки, которые мне приходилось таскать на пристани, в сравнении с этой бадьей оказались легкой соломинкой. Пока бадья появилась над колодцем, я изошел потом. Язык присох к горлу. Глоток холодной воды вернул бы силы, но где она, эта вода?

Курд сразу ушел искать ее и до сих пор не возвращался. Я слил нефть в желобок и снова опустил бадью. Третью пришлось тянуть из последних сил, задыхаясь и чуть ли не теряя сознание. Перед глазами плавали черные круги. «Если получать по пять шохи за каждую бадью, и то не окупится этот каторжный труд». — подумал я.

Я оставил колесо и, покачиваясь, вышел со двора поискать поблизости воду. Её, разумеется, не было, я вернулся и упал у колодца, как подкошенный. В груди все горело, голова разламывалась на куски. Не знаю, сколько времени я пролежал. Поднялся только тогда, когда мой товарищ пришел с двумя глиняными кувшинами воды. Он тащил их издалека: вода успела нагреться и стала горячей. Я припал к кувшину, жадно пил и не мог напиться.

— Ладно, дружок,—сказал курд,—пойдем пообедаем, отдохнем где-нибудь в тени, а после заката поработаем. В этом аду работать невозможно.

Мы спустились к морю. Не успел я раздеться, как курд взбежал по приставной лестнице на мостик разбитой баржи, стоявшей у берега. С высоты семи—восьми метров он прыгнул в воду и поплыл так быстро, что я едва успевал следить за ним взглядом. Вскоре он скрылся из виду. Тщетно я всматривался вдаль: его и след простыл. У меня екнуло сердце. Взобрался на баржу, может, думаю, отсюда виднее? Огляделся—нигде нет. Я вздохнул, спустился — а он стоит на берегу и не спеша одевается.

— Откуда ты появился?

* Хауз — бассейн.

— Я — не русалка, а ты не святой, чтобы ее видеть,— улыбнулся он. Мне осталось только подивиться его силе и ловкости. Какое надо иметь дыхание, чтобы так долго плыть под водой? Я выразил вслух свое восхищение и спросил:

— Как же тебя зовут?

— Алиджон...

* * *

Вечерами работать стало легче, и я тянул бадью до полуночи. Мы притащили из моей хижины самовар, уголь и посуду. Алиджон купил сахар, чолоб и табак. Пока я качал нефть, он кипятил самовар, поил меня чаем, набивал трубку. Во время передышки я спросил, какая не легкая занесла его в эти края.

— О, это долгая история, придет время — расскажу,— ответил он и тут же добавил: — Ты не обижайся, Салим, ее сразу не расскажешь, услышишь — сам поймешь и одобришь меня.

Я и не обижался, потому что не считал себя вправе лезть в душу человеку, с которым меня связывал только один день знакомства. Алиджон разжег трубку и, протянув мне, весело улыбнулся.

— Я хочу спросить у тебя, брат, откуда ты родом? Ты не перс и не азербайджанец. Как говорят поэты, ты «цветок какого гулистана и соловей чьего сада»?

Я понял, что он знаком с литературой и, подумав, ответил вопросом:

— Вначале скажи, почему, едва сойдя с парохода, ты обратился именно ко мне, а не к кому-то другому? Ведь на пристани толкалось столько народу?

— Да сопутствует твоему дому удача,— рассмеялся Алиджон. — Это яснее ясного, брат. Пассажиров было не больше десяти, а амбаров — больше пятидесяти, и я видел, как они кинулись на пассажиров, толкались и дрались друг с другом. Только один стоял в стороне и наблюдал за ними. Вот это-то и привлекло меня к тебе.

— Ты тоже понравился мне с первого взгляда, и я расскажу тебе про свою жизнь...

Страницы из жизни Салима

Я сказал Алиджону, что родом с Фалгарских гор, из владений эмира Бухарского. Мой отец был брадобреем в кишлаке и мечтал дать детям образование. Сам он умел кое-как читать, обучил этому искусству и меня, а потом, когда мне минуло шестнадцать, повез в город Самарканд, где и отдал заботам мударриса* из знаменитого повсюду медресе Улуг-бека. Чтобы отдать меня в учение, отец долгие годы откладывал деньги — на дорогу и на подношения мударрису. Являться к нему без подарков считалось неудобным.

— Мударрис,— продолжал я свой рассказ,— принял дары и поручил меня одному из своих помощников. Но долго я там не выдержал. Я мог терпеть и сырость, и смрадный, удушливый воздух худжры**, глотать ее пыль и дым, потому что дымоходов очаги не имели и единственным отверстием, как правило, была дверь... но я не мог терпеть развращенных нравов, которые царили в медресе. Некоторые старшие ученики использовали мальчиков как наложниц. Стали они приставать и ко мне. Я жаловался мударрису и его помощникам — бесполезно.

* Мударрис — преподаватель высшего духовного училища-медресе.

** Худжра — келья.

Видно, они были заодно со своими учениками. Тогда, бросив ученье, я нашел приют у своих земляков-фалгарцев, большинство из которых работало сторожами в караван-сараях или на крытых рынках города. Двое из них, служившие у владельца караван-сарая Шариф-бая, отнесли ко мне, точно к родному сыну. Помогая им, я в течение нескольких месяцев зарабатывал себе на хлеб.

Как-то один из купцов, кавказец Ханиф, пригласил меня к себе в помощники. Я побывал с ним в некоторых городах Туркестана и Кавказа, а потом через Стамбул в Мекку отправился на поклонение священному камню. В дороге я прислуживал ему — брил голову и подстригал бороду, массажировал и мыл в бане. Он был бездетен и называл меня своим сыном.

Побывав в Мекке и Медине, мы возвращались на родину Ханифа через Багдад. У него были какие-то дела в этом вечном городе, а я, не зная чем заняться и желая сделать нечто богоугодное, решил подзаработать брадобрейством. Я расположился на площади у мазара* великого имама** Абуханифа, где обычно останавливались группы паломников-арабов и курдов, волосы которых, наверное, никогда не знали гребенки. Некоторые платили мне за труд, другие говорили, что «богом зачтется», и уходили. Я ничего ни у кого не требовал. Служители мазара и подметальщики площади, нередко пользовавшиеся моими услугами, любили меня и иногда угощали обедом.

Дважды мне пришлось брить одного курдского хана. Его звали Сулейман-бек. Он расспросил меня, откуда я родом и кто мой отец; узнав, что я из Бухары, он вспылал ко мне дружеским участием и стал настаивать, чтобы я поехал с ним в Мусил, обещав даже выдать за меня лучшую девушку его племени. Я уже был отравлен страстью к путешествиям, за несколько месяцев жизни в Арабистане и Багдаде хорошо освоил арабский и курдский языки. Поэтому меня останавливало только чувство неловкости перед Ходжи*** Ханифом.

Сулейман-бек сам переговорил с купцом и Ходжи Ханиф не стал мне препятствовать. Мне дали хорошего коня, и через много дней пути мы достигли Мусила. Племя бека жило не в самом городе, а в двух фарсангах**** от него, на берегу реки Даджла.

Там мне было хорошо и вольготно. Вместе со сверстниками-юношами я носился по горам за дичью, участвовал в состязаниях джигитов и стрелков. И только постоянные неудачи в этих состязаниях омрачали меня. Я уступал в сноровке и ловкости даже девушкам-горянкам и они открыто подсмеивались надо мной. Ни одна из красавиц не глядела на меня. Однажды, на каком-то пиршестве, юноши состязались в отваге. Я понуро сидел в стороне. Сулейман-бек посмотрел на меня и сказал:

— Ты почему, сынок, стоишь в стороне? Если хочешь жениться на нашей девушке, ты ни в чем не должен уступать нашим юношам. Иначе кто же пойдет за тебя?

Эти слова подействовали на меня, как ведро ледяной воды. Мог ли я сравняться с этими вольными и отважными соколами? С тех пор щемящая тоска поселилась у меня в сердце.

Вскоре к нам прискакал глашатай и объявил, что великий шейх* в благословенный день пятницы выйдет свершить великое деяние, и поэтому млад и стар должен собраться на главной площади, чтобы после всеобщего моления принять участие в этом деянии. Кого бы я ни спрашивал, что же будет делать шейх, — никто толком не отвечал.

* Мазар — священное место, гробница святого.

** Имам — духовный глава мусульман-шиитов.

*** Ходжи — мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

**** Фарсанг — мера длины, равняющаяся примерно 7—8 километрам.

* Шейх — представитель высшего мусульманского духовенства.

Наконец наступила пятница. Только несколько мужчин и женщин нашего племени остались в своих шатрах. Все остальные приехали в город. Прилегающие к площади и соборной мечети улицы были заполнены людскими толпами. Как говорится, иголке негде было бы упасть—столько собралось всадников и пешеходов. Наш бек сразу подъехал к важным духовным лицам, из которых один был попечителем имущества соборной мечети, а другой—ее имамом.

Бек почтительно поздоровался и они сказали, чтобы он с шестью приближенными следовал за ними. В число приближенных попал и я. Мы проехали к крепостной стене и через двери башни вышли во двор. Здесь мы слезли с лошадей и нас провели тесными дворами к соборной мечети. Муллы вместе с беком прошли внутрь, а мы по приставной лестнице поднялись на крышу. Отсюда хорошо просматривалась и площадь, и окрестные улицы. Часть площади возле мечети была пуста. Напор толпы сдерживала цепь воинов, гарцевавших на горячих конях.

Солнце стояло в зените. На минарете появился муэдзин*, и многотысячная толпа рухнула на колени, повторяя слова пятничной молитвы. Потом, словно горный поток, люди хлынули к дверям мечети. Воины с трудом очистили небольшое пространство у входа.

— Что здесь будет происходить?—спрашивал я, но мне никто не отвечал.

Посреди пустого пространства появилась небольшая группа всадников, приволочившая двух закованных в цепи узников с колодками на ногах. Всадники поставили узников на колени, сами встали по сторонам, обнажив сабли. Четверо служителей бегом вынесли из мечети деревянный помост с семью ступеньками.

— Что все это значит?—опять спросил я, и опять молчание окружающих было мне ответом.

Вдруг площадь огласилась ликующими криками: из мечети вышел сам великий шейх Ходжи Мухаммед Идрис, одетый в длинный, до пят, халат. Был он стар и худощав, лицо — смуглое, безбородое, на голове — большая белая чалма. Он шел в окружении мулл. Я узнал одного из его свиты. Это был попечитель имущества.

Шейх взошел на помост, прочитал молитву и, засучив широкие длинные рукава своего халата, окунул обе руки в поставленный у ног большой котел с бекмесом. Вытащив руки из котла, он тут же опустил их в ведро с просом, затем воздел к небу.

— Эй, люди!—крикнул шейх.—Братья мои правоверные! Что это прилипло к моим рукам? Вы все видите — это просо, но знает ли кто, сколько его здесь? Нет. Никто, кроме бога, не знает. Откройте теперь свои уши и слушайте слово мое, и не говорите, что не слышали. Я объявляю: тот, кто в жизни убьет своими руками хотя бы одного вероотступника, тот совершит богоугодное дело и освободит себя от стольких грехов, сколько зерен проса прилипло к моей руке! А если вы убьете двоих, то ваша слава вознесется, подобно славе того, кто в свите божьих посланцев свершил великое деяние, принеся душу свою в жертву своей вере! Да проклянет господь вероотступника!

Шейх спустился с помоста. Он вымыл руки и, вытянув нож из-за пояса, подошел к узникам. Взмах руки — и один узник повалился с перерезанным горлом. Еще взмах — рухнул второй. Шейх отделил головы несчастных от туловища, снова вымыл руки и, воздев их к небу, повернулся лицом к кибле*, сотворил молитву о даровании счастья всему его племени, причастному к свершению «великого деяния».

— Аминь!—сказали муллы, поддерживая шейха.

* *Муэдзин* — служитель мечети, призывающий к молитве.

* *Кибла* — сторона, в которую обращаются мусульмане во время молитвы.

— Аминь!— выдохнули разом тысячи людей на площади.

Шейх со своей свитой ушел. Стала расходиться и толпа. Специальные люди потащили трупы убитых к водосливу бани; хоронить вероотступников — грех, их тела должны растерзать собаки, растаскать вороны.

Мне впервые довелось увидеть такое. Не помню, как я спустился с крыши мечети, как шел по улицам города. Вдруг я услышал таджикскую речь. Оглянулся — идет человек в хороших одеждах, попыхивает сигарой и вполголоса напевает Хафиза:

Где правоверных путь, где нечестивых путь?

О, где же?

Где на один вступить, с другого где свернуть?

О, где же?

Я подошел к нему, тихонько спросил:

— Амакджон, что это были за люди, за что их убили?

Мужчина, никак не ожидавший встретиться здесь таджика, побледнел и, с трудом овладев собою, спросил, откуда я и как попал на этот край света? Сам он оказался врачом из персидских евреев.

— Уезжай отсюда, парень, побыстрее,— сказал он мне.— Эти варвары идут за своими шейхами и муллами, точно слепые щенята за сукой. Их легко обвести вокруг пальца, и тогда они не отличают врага от друга. Бедняги были истинными мусульманами, а их обвинили в вероотступничестве только потому, что шейху захотелось завладеть чужим добром.

У меня волосы дыбом встали на голове. «Почему, почему,— думал я,— среди этой массы людей не нашлось ни одного, кто бы посмел разоблачить вопиющую несправедливость?...»

Ночью я собрал свои нехитрые пожитки: кисточки, гребенку, бритву да ножницы,— и ушел из шатра Сулеймана-бека.

Семь месяцев я шел, кормясь ремеслом брадоброя. Миновав Южный Азербайджан, сел в Астаре на пароход, который привез меня в Баку. Здесь я стал амбалом. Вот и вся моя жизнь.

Алиджон улыбнулся.

— О, мне очень повезло, Салим-ака, что я встретил тебя,— сказал он.— Ты с одного конца света, я—с другого, но пока будем вместе, я уверен, брат,— мы добьемся многого. Неужели нам так и придется до конца своих дней гнуть спину на этого толстопузого за несчастных тридцать-сорок копеек?

Поединок

За шесть часов изнурительной работы я с трудом достал из колодца тридцать восемь бадей. Мы заглянули в хауз, нефть не достигала и четвертой отметки. Каждая отметка равнялась десяти бадьям. Если работать не разгибая спины восемь часов подряд, то ценой невероятных усилий можно добыть пятьдесят бадей,— значит, всего двадцать пять копеек.

Двадцать пять копеек, пять шохи... Их едва хватит, чтобы расплатиться за обед. А чем платить за жилье, одежду и за другие неотложные нужды?

Я вздохнул.

— Ничего. Скоро найдем что-нибудь лучше,— утешал меня Алиджон.

Мы съели хлеб и пендир,* запив его крепким чаем, потом Алиджон

* Пендир — сыр из овечьего молока, брынза.

стал вертеть колесо. Меня сморил сон. Какое блаженство — растянуться с усталым телом на горячей земле! Я проснулся, когда начало светать.

— Выспался? — спросил Алиджон.

— Нет.

— Так спи, у тебя в запасе еще два часа.

Я повернулся на другой бок, подложил под голову камень и снова уснул. На этот раз меня разбудили горячие лучи. Алиджон в стороне умылся. Я подбежал к бассейну — и застыл в изумлении: он был так полон, что туда и пиалы не влить. Это было какое-то чудо. Такого еще никто не знал в Баку. Один человек за семь часов накачал сто двенадцать пудов нефти!

— А теперь пошли в город, — просто сказал Алиджон.

Из-за двух соседних строений доносился скрип колес, качающих нефть. Мы вошли, поздоровались. Выкурив по трубке, мы заговорили с рабочими. И тут выяснилось, что никто еще ни днем, ни ночью не накачивал больше тридцати пудов и что за каждый пуд хозяева платят по копейке. Алиджон разозлился.

— Этот толстобрюхий решил платить нам половину?! За пятьдесят пудов — двадцать пять копеек?! Да еще при условии, чтоб было не меньше пятидесяти?! Нет, брат, надо его отыскать, да поскорее, и навьючить самого. Пошли!

Хозяина нашего звали Балакиши-бек. Мы отыскали его дом в квартале «Тозапир». Он сидел в чайной и, закинув ногу на ногу, играл в нарды с таким же толстым, как сам, человеком. Нас Балакиши-бек не заметил, или заметил, да не подал вида. Мы поздоровались — никакого ответа. У Алиджона глаза налились яростью.

— Хозяин, мы пришли к вам... — сказал я.

Балакиши-бек глянул на нас исподлобья и ничего не сказал. Потом вдруг резко поднял голову, сдвинул на затылок шапку и пробормотал:

— Ха, хамшахри, на вар?*

— Худжаин, бизи рашёт эля, гедирик...**

Балакиши-бек подпрыгнул, словно ужаленный шагнул к нам, грозно вращая белками глаз. Даже занес руку назад, собираясь ударить, но, встретившись с нами взглядом, тотчас же стал необычайно ласковым:

— Балам, нея олду беля?***

Мы потребовали расчета.

— Рабочий всюду должен работать, — сказал хозяин. — Одно время я тоже был чернорабочим, амбалом, крутил колесо и качал нефть; я не сразу стал хозяином, аллах каждому даёт то, что ему предназначено. Ладно, если вам мало, я буду платить, как все, идите работайте.

— Но хауз уже полон, хозяин. Куда нам сливать нефть?

Балакиши-бек вдруг схватился за живот и так расхохотался, что кресло под ним треснуло. Вся чайная недоуменно уставилась на него.

— Слушайте, вы... вам, наверное, во сне приснился полный хауз, и вы приняли сон за правду? — сказал бек, отсмеявшись. — Чтобы его наполнить, опытному и сильному человеку не всегда хватает трех дней! Если нужны деньги, возьмите вот эти пятьдесят копеек и марш работать. Завтра приеду, рассчитаемся.

— Нет, хозяин, — ответил я, — вы поезжайте, поглядите, потом говорите, что хотите: то ли нам приснилось, то ли мы наполнили его вот этими руками, которые кажутся вам слабыми. А будете хорошо платить, каждый день будем наполнять.

Бек нам не верил и, обращаясь к окружающим, доказывал, что мы хотим его провести. Окружающие поглядывали на нас насмешливо.

* А, земляк, в чем дело? (азерб.)

** Хозяин, рассчитай нас, мы уходим...

*** Сынок, отчего так?

Алиджон не выдержал, выступил вперед, и, протянув руку в сторону бека, сказал:

— Вам, толстобрюхим неженкам, это было бы не под силу. Возьми четверых людей и поезжай. Если мы обманули — бесплатно наполним тебе три хауза. Но если мы правы, ты заплатишь нам за каждый пуд по десять копеек!

Я перевел беку предложение моего товарища. Нас окружили теснее. Никто не хотел верить. Некоторые покачивали головами. Только один старик с окрашенной хной бородкой, знавший по-таджикски, вроде поверил, потому что вдруг пригласил всех присесть и выпить с ним чаю. Но нам было не до чая. Мы стояли на своем.

Балакиши-бек сердито двинулся к выходу, остановил фаэтон и вместе со своим напарником, таким же толстым, как сам, человеком, покатил за город. Мы вынуждены были перехватить второй фаэтон, на третьем поехали любопытные из чайной.

Когда бек увидел наполненный до краев хауз, во рту у него пересохло и слова застряли в горле. Однако уже через мгновение он овладел собой и...

— Эту нефть вы накачали?! — сказал он. — Когда я вас привез сюда, в хаузе было уже больше ста пудов...

Кровь ударила мне в голову. Будь у меня что-нибудь под рукой, я проломил бы ему череп или проткнул брюхо. Алиджон, следивший за выражением моего лица, тут же спросил, в чем дело, но разве можно было сказать ему правду?

— Сколько же мы накачали, ты знаешь? — спросил я у бека, взяв себя в руки.

— Двое за одну ночь накачают не больше сорока пудов, — ответил он.

— Освободите хауз, — сказал я. — Если мы за ночь не наполним его — ваша правда; ну а если все-таки мы правы, что тогда?

— Если наполните хауз, я заплачу по десять копеек. Не сможете, пеняйте на себя; получите только за сорок пудов и по пятаку за пуд.

С этими словами бек и все остальные уехали. Мы остались вдвоем. Я передал Алиджону наш разговор с беком.

— Мы ему докажем! — сказал Алиджон.

После полудня пришла арба с промадной цистерной. Арбакеш насосом выкачал нефть из хауза. Но на дне оставил примерно около бадьи. Я уговаривал арбакеша вычистить бассейн до последней капли. Но он отказался, сказав, что бочка и так полная.

Мы приступили к работе. По предложению Алиджона первым начал я. До полуночи я поднял сорок две бадьи, заглянул в хауз — нефть поднялась чуть выше четвертой отметки. Я вернулся к колесу, но Алиджон преградил мне путь:

— Хватит, брат, ты свое отработал, теперь отдохни.

Как и в прошлую ночь, мы поужинали, потом я улегся, а Алиджон встал за колесо. Когда же на рассвете я пошел взглянуть на результат наших усилий, у меня подкосились ноги: нефть не поднималась выше девятой отметки. О, господи! Вчера он был полон до краев, а сегодня чуть больше половины? Я протер глаза.

— Что, уже полон? — спросил Алиджон, вытягивая очередную бадью.

Я не знал, что и ответить.

Алиджон подбежал ко мне, развел руками.

— Нет, брат, не может быть, — сказал он. — Сегодня должно быть больше, чем вчера...

Настроение упало. Алиджон больше не брался за колесо. Он кипел, а я не решался сказать, что его, наверное, кто-то сглазил.

В то же мгновение заржали кони, во двор въехал фэзтон бека. Хозяин заглянул в бассейн и затрясся от смеха.

— И это все? Это все, что вы смогли сделать?

Он схватился за живот, и, закинув голову, расхохотался. Смех у него был похож на бульканье воды. Подавленные, мы молчали.

— Но вы молодцы! — сказал вдруг бек, вдвоясь насмеявшись. — Я и этого не ожидал увидеть. Вы накачали в два раза больше, чем самые опытные работники. — Он довольно потирал руки, улыбка не сходила с его толстого, мясистого лица. — Я вижу, вы устали, отдохните, я дам денег. Сегодня только второй день, с непривычки тяжело, все тело болит. Потом привыкните, будет легче, у вас еще нет опыта... — тараторил он. — Я много лет сам работал, все знаю. Через неделю будете выкачивать всегда одинаково, ни больше, ни меньше.

Бек протянул мне серебряный рубль и добавил, что окончательно сочтемся потом.

— Пять-десять копеек — ерунда, не пропадут, если и дам лишнее, — сказал он.

Загадка не давала нам покоя. Мы работали изо всех сил, но нефть ни в одну из ночей не поднялась выше девятой отметки. Восьмая, девятая — это был предел. Один раз мы не дотянули даже до седьмой. Мы не находили себе места, силясь понять, как это сто пятьдесят пудов превращаются в семьдесят.

Алиджан притащил шитую на свои деньги новую кожаную бадью, в два раза больше хозяйской. Он закрепил бадью на цепи и опустил ее в колодец. Дряхлое колесо стонало и трещало, а потом вдруг развалилось. Алидجون сел, понурился головой. Из груди его вырвался тяжелый вздох.

Я побежал в село, разыскал плотника и, притащив его к колодцу, договорился о новом колесе из карагача. Он взял три рубля задатка и уехал за досками. К полуночи колесо было готово. Из нашего кармана ушло пять рублей пятьдесят копеек — почти десятидневный заработок.

Алидجون приступил к работе. Он словно не замечал, что новая бадья в два раза тяжелее прежней и не уступил мне очереди. В восемь утра бассейн был полон. Алидجون счастливо засмеялся.

Спустившись в город, мы разошлись: он пошел искупаться к морю, а я — в дом Балакиши-бека. Хозяин опять сидел в чайной и играл в нарды. Выслушав меня, он резким движением отодвинул доску и, зло выругавшись, велел запрягать фэзтон.

Всю дорогу бек кого-то ругал, не скупясь на проклятия. Глянув на бассейн, он разозлился еще больше и сказал:

— Этот дурак арбакеш не вывез вчера нефть!..

— Что вы, господин, он вывез. Вечером бассейн был пустой.

— Кому лучше знать — мне или тебе? — взорвался бек. — Ты кого хочешь обмануть? Балакиши-бека еще никто не обманул!..

Я старался ему объяснить, что мы поставили новое колесо и новую бадью и поэтому работа пошла в два раза быстрее, но он не хотел слушать. Когда я сослался на арбакеша, он крикнул:

Собаку разве можно брать в свидетели? Все вы одинаковы, за один аббас* готовы сказать что угодно.

Как ни душила меня обида, как ни клокотала во мне злость, но я сдержался. Ударить богатого — все равно, что добровольно сесть в тюрьму.

— Послушай, он видел новое колесо и бадью? — спросил Алидجون, когда я передал свой разговор с Балакиши-беком. — Ты объяснил ему, что работа идет в два раза быстрее?

* Аббас — двадцать копеек.

Алиджон протянул мне кисет вместе с трубкой.

— Зажги! — сказал он. Руки у него дрожали, трубка плясала, будто его била лихорадка. Я понял, что в слепой ярости этот горячий курд может натворить такое, что потом вовек не расхлебашь.

— Алиджон, — сказал я, желая отвлечь его от дурных мыслей, — не лучше ли нам поискать счастья в Дагестане или Туркестане?

— Нет. Прежде надо доказать негодяю, что «хамшахи» не умеют лгать. Пока я не докажу ему это, я отсюда не уеду.

— Бесплезно, Алиджон! Ты работаешь, как вол, а он твердит своё...

— Нет, пускай освободят хауз в присутствии свидетелей. Посмотрим, что скажут люди...

Мы пошли к беку. Он согласился с нами и поехал к колодцу, прихватив с собой своего напарника: всё того же толстого, как сам, человека. Двумя другими свидетелями стали рабочие, качавшие нефть из соседних колодцев. Когда хауз опорознили, бек засмеялся:

— С вас не хватит одного проигрыша?

Как только мы остались одни, я сел за колесо и вытянул пять двухпудовых бадей. Но у меня онемела рука, и я вынужден был сменить большую бадью на малую. К двенадцати часам ночи нефть в хаузе поднялась выше пятой отметки. Потом наступила очередь Алиджона. Он проработал до шести утра, причем, подвесил опять свою двухпудовую бадью.

Увы, нефть едва перевалила за десятую отметку. У нас свело дыхание. Это уже была какая-то мистификация. Если я маленькой бадьей вытянул за шесть часов пятьдесят пудов, то Алиджон вытянул не меньше ста... Куда же она девается? Не уносят же ее джины!..*

Мы еще не пришли в себя, а во дворе уже стоял фэзтон Балакиши-бека. Заглянув в хауз, хозяин рассмеялся. Он подозвал нас к себе, но мы не могли сдвинуться с места. Тогда Балакиши-бек подошел сам, и, хлопнув меня по плечу, сказал:

— Молодцы! Никто еще в нашем краю не качал по пятьдесят пудов, а вы, мои соколы, за одну ночь накачали больше девяноста! На, возьми это, — он протянул мне серебряный рубль.

Мы даже не заметили, как бек уехал. Голова у нас ходила кругом. Поединок с беком мы проиграли.

Но чудес на свете не бывает, и всякая тайна рано или поздно перестает быть тайной.

Спускаясь к городу, мы встретили немощного старика с большой старухой. Они с детьми на руках медленно брели в гору, обливаясь потом и задыхаясь. Решив им помочь, мы взяли у них детей и донесли до дому. Старики жили в самом конце деревни. Они пригласили нас войти в дом, старик велел старшей дочери-вдове поставить чай.

В комнате лежали короткие доски, небольшой топорик-теша и пила-ножовка. По разбросанным на подоконнике заготовкам мы догадались, что наш хозяин — мастер по выделыванию деревянных расчесок и гребней. Одну из расчесок он подарил мне, другую, специально для расчесывания кудрей — Алиджону. Звали старика Усто Сулейман. Ему пошел восемьдесят второй год, но работы своей он не бросал.

Хола Хайринисо, пятидесятилетняя дочь Усто, зарабатывала тем, что прядла чимбеты*. Её станок стоял здесь же.

За чаем старик стал расспрашивать нас о работе и, когда мы упомянули имя Балакиши-бека, покачал головой. Я рассказал ему о том, как бек нанял нас, как пытался обмануть, и о том наваждении с нефтью,

* *Джин* — злой дух, нечистая сила.

* *Чимбет* — сетка из конского волоса, которой женщины закрывали свое лицо на улице.

которое не дает нам покоя. Старик вздохнул, глянул на дверь и на окна, потом, понизив голос, сказал:

— У этого мерзавца, да простит мне аллах, никто еще не видел добра. Мой покойный зять, Рахматулло, отдал там свою душу. И если тот проклятый хауз не наполняется, несмотря на все ваши старания и усилия, то ничего в этом нет удивительного: днем из него выкачивает две бочки открыто, а ночью столько же украдет.

— Как? — воскликнули мы в один голос.

Усто Сулейман объяснил нам, что со дна бассейна выведена на пустырь труба. Алиджон прикусил ус, качнул головой. Это движение всегда выдавало его гнев.

— Я так напою нефтью эту голодную собаку, что она до конца своих дней не будет ничего пить! — сказал он, сжав кулаки.

— А куда выходит труба? — спросил я.

— За нашим домом, в соседнем дворе. Он тоже принадлежит Балакиши. Дорога к ней идет с другого конца села, — ответил старик. — С нашей стены легко увидеть арбу.

— Надо переломать ноги арбакешу вместе с его лошадьёю, — сказал Алиджон.

— Зачем — лошади и арбакешу? Они разве виноваты? — спросил Усто Сулейман.

— Надо просто заткнуть чем-нибудь трубу, — предложил я. Только теперь мне стало понятно, отчего арбакеши всегда оставляли на дне бассейна нефть: она прикрывала отверстие.

— Разве трудно прочистить трубу? — вздохнул старик.

— Не трудно, но тут-то мы его и поймаем, — сказал я. — Только как добраться до трубы, а? Сверху она залита нефтью... Разве взломать замок во двор?.. Но тогда не спрятать концов...

— Или терпи, или голову клади! — сказал Алиджон. — Если человек на что-то решился, отступить он не должен.

Мы распрощались с Усто Сулейманом и его семьей. На перекрестке нам повстречался арбакеш Ахмад. Он ехал за нефтью. Мы пошли рядом, предложили ему трубку. Ахмад слез с облучка и тоже зашагал пешком. Я спросил, сколько он уже вывез.

— Одну арбу, — ответил арбакеш.

— Сегодня хауз опорожните?

— Там как раз еще на одну арбу.

— Быстрее б опорожнили, мы б начали работать.

— Неужели и днем будете работать?

— Что ж делать? — приторно вздохнул я. — За ночь не успеваем наполнять хауз. Поработаем немного и днем, может быть, сумеем. Удивляешься просто: два раза наполнили, в третий — не можем. Что тут за чудо? Ума не приложим...

— Поработайте, может, и получится... — Ахмад отвел глаза.

Примерно через час он перекачал нефть в бочку, но на дне бассейна опять оставалось около трех-четырех ведер.

— Вычистите его как следует, Ахмад-ака, иначе бек опять придерется и пропадет наш труд, — попросил я.

— Бек приказали всегда оставлять три-четыре ведра.

— Почему?

— Они сами знают.

Однако мы настояли на своём.

Арбакеш понял, что мы раскрыли обман, дрожащими руками снова установил насос и выкачал всю нефть, до последней капли. На дне хауза торчал, зияя дырой, конец трубы.

Едва арбакеш выехал за ворота, Алиджон схватил рванный мешок, скрутил его в тугую клубок, спустился в хауз и втиснул в трубу. Потом

мы залили дно нефтью и, как ни в чем не бывало, пошли в город, провели остаток дня в своей худжре.

Ближе к вечеру мы нашли бека все в той же чайной, за теми же нардами.

— Ха, ена на вар?* — спросил он.

Я сказал, что утром в селе играется свадьба, нас пригласили, и поэтому мы просим его приехать завтра пораньше и принять нефть, чтобы нам успеть еще сбегать в баню.

— Чудесно! — сказал бек, улыбнувшись. — Ладно, идите, ваша просьба будет выполнена.

Мы поспешили приняться за работу, решив, что будем сменять друг друга после каждой десятой бадьи. Полночь еще не наступила, а хауз был уже полон. Радуюсь, словно дети, мы только уселись перекусить, глядя — осторожно входит во двор с камчином** в руке Ахмад-арбакеш и, не увидев нас у колодца, направляется прямо к бассейну.

— О, господи! — вздохнул он, изумленный.

Мы окликнули его, предложили отужинать с нами. Он тяжело сел рядом.

— Что это вдруг, Ахмад-ака, вы ночью вышли с камчином? — спросил я. — Никогда ведь к нам не приходили в такую пору? Или — соскучились?

— И соскучился, и устал порядком: с самого вечера таскал на свадьбу дрова и воду. Думаю, дай проведу. А вы, как вижу, здорово потрудились, а?

— Или мы потрудились, или вы не трудились? — сказал я. — Если б вы поработали, как каждую ночь, то наш труд пропал бы даром.

Арбакеш уставился на нас, готовый сорваться с места, словно вспугнутый зверь.

— Ахмад-ака, — сказал я, — мы знаем, что все эти штуки вы продельваете по приказу бека. Однако знайте: на каждой бочке выкаченной вами из трубы нефти мы теряем сорок копеек. Вы в ночь увозили две арбы, и заработанные нами восемьдесят копеек оставались у бека. Сегодня мы доказали, что можем за ночь наполнить два таких хауза. Я понимаю, завтра бек будет вас ругать, но это уже ваше дело.

Алиджон, уже понимавший немного по-азербайджански, сказал мне:

— Пусть скажет, что мы выследили его, избили, притащили сюда и не даем двинуться с места!

На том и порешили. Привели лошадь Ахмада с арбой и стали дожидаться хозяина.

Балакиши-бек появился на рассвете. Влетел сияющий, сверкая золотыми кольцами и играя тростью с серебряным набалдашником. Но стоило ему увидеть полный бассейн и Ахмада возле арбы, как он сразу побагровел и пошел, пошел сыпать проклятья на голову бедного арбакеша, не забыв ни его мать, ни отца, ни сестру с женой, ни дочку. Он перебрал всех его предков, до седьмого колена. Ахмад рухнул перед ним на колени, в мольбе протянул руки, но Балакиши-бек не хотел его слушать.

Тогда вышел вперед Алиджон и, гневно сверкая глазами, на ломаном языке потребовал плату за труд.

— Гет, купак углунун фарзанди, рад ол башимдан!*** — топнул ногой бек, но тут же получил такую затрещину, что свалился на землю, будто подпиленное дерево. Из носа у него фонтаном брызнула кровь, каракулевая папаха полетела в хауз, обнажив плешивую голову.

* — Ну, что там еще? (азерб.)

** Камчин — плеть.

*** Пошел, сукин сын, проваливай с моих глаз. (азерб.)

Ахмад-арбакеш стоял бледнее полотна. Какое-то мгновение царил тишина. Бек сел на землю, достал большой платок и стал утираться. Из носа кровь перестала течь, но из ушей все еще шла. Он прижал платок к уху, поднялся и заковылял к воротам. Я сделал Ахмаду знак, чтобы не выпускал хозяина в таком виде, однако Алиджон опередил арбакеша и преградил дорогу беку.

— Ты уйдешь отсюда только тогда, когда рассчитаешься с нами! Мы ни одной минуты не будем больше работать на такого вора, как ты, но и своего не собираемся оставлять тебе.

Персидский язык Алиджона был чужд беку, но смысл сказанного он понял.

— Сойди с дороги! — закричал бек. — Я рассчитаюсь с вами, собачьи выродки, в своем месте!

Алиджон поднес к носу бека кулак:

— Это видишь? Если ты сейчас же не рассчитаешься с нами, я вышибу из тебя дух!

— Хой, хоро-о-о-й!..* — завопил было бек, но Ахмад-арбакеш вдруг ударил его по затылку, и Балакиши-бек, оказавшийся в это время снова у хауза, полетел прямо в нефть. Черная маслянистая жидкость сомкнулась над ним.

Свадьба в селе начиналась, гремели барабаны и заливалась зурна. Они заглушили предсмертный вопль хозяина...

Так кончился наш поединок с Балакиши-беком.

— Ночью, — сказал наш неожиданный сообщник Ахмад-арбакеш, — я подожгу эту нефть, чтобы от него не осталось следа. Вы уходите, куда хотите и будьте покойны — день или два его никто не хватится: дома скажут, что он на свадьбе, а кучера он сам отпустил на три дня прислуживать хозяевам. Я пушу слух, что видел, как он промчался на фаэтоне в окружении двух людей в ватных куртках. Родные подумают, будто грабители похитили его, чтобы получить выкуп. Я виноват перед вами, но я должен был повиноваться беку... Что я мог поделывать?..

Мы распрощались с Ахмадом-арбакешем и решили направиться в Астрахань. Это было в конце лета 1875 года...

Простые люди

... Стоило утлому суденышку, перевозившему шерсть в Астрахань, покинуть рейд, как мы вздохнули облегченно, словно ласковый морской ветер сдул с плеч тяжкий груз забот и печалей, давивших нас все это лето в Баку.

Плыть на таком пароходе — удовольствие маленькое, но в нашем положении иного выхода не было. Билет на пассажирский пароход стоил очень дорого, а на этом за пять рублей в течение трех дней нас доставили в Астрахань. Утомительное путешествие было сокращено теплым отношением команды.

В Астрахани мы сняли за рубль небольшую клетушку в караван-сараяе, где обитали амбалы, и занялись поисками работы. Вскоре нам предложили места в ватаге рыбаков, собравшихся на сезон. Хоть и не лежала душа к этому делу, тем не менее пришлось подрядиться: нам положили двенадцать рублей в месяц.

Мы работали день и ночь. Работали, как волы, по пояс, а то и по горло в воде, полагаясь только на мускулы собственных рук. Мы уходили в море на баркасах, готовых вот-вот развалиться, забрасывали сети и, обливаясь потом, задыхаясь от напряжения, тянули их из морских глубин. Потом разбирали рыбу, перегружали ее на телеги и чуть свет спешили отвезти в город... Рыбаков валила с ног лихорадка. Каждый

* — Ой, кара-у-ул!.. (азерб.)

день в той или иной ватаге кто-то отдавал богу душу. Примерно через месяц свалила она и нас: сперва меня, потом Алиджона.

— Надо спасать свои души,— сказал я Алиджону.— Уйдем из этого ада?

Он согласился.

С трудом волоча ноги, мы добрались до дома подрядчика. Его не оказалось дома. Мы хотели подождать, но нас не пустили во двор. Обесиленные, мы приткнулись на берегу реки, усеянном чешуей и дохлой, зловонной рыбешкой. Тучи крупных, с зеленоватым брюшком, мух жужжали над самым ухом, садились на нас, словно на падаль, а у нас не хватало даже сил их отогнать... Не знаю, как прошла ночь. Мы провели ее в бреду. А с рассветом, так и не дождавшись подрядчика, пристроились на телегу с рыбой и доехали до города. Но в городе не к кому было обратиться за помощью, не у кого искать защиты. В карманах — ни копейки, а душа еле держится в теле.

Потеряв всякую надежду на спасение, безучастные ко всему, мы повалились на землю у какой-то стены. Меня бил озноб, во рту всё пересохло. Алиджон сидел, опустив голову на грудь; казалось, он дремал. А над нами сияло такой ослепительной голубизны небо и так мучительно было глядеть в его зовущий простор, что я не выдержал, повернулся к стене. Стена пахла сыростью и рыбой.

— Ты погляди, наши пассажиры! — раздался вдруг над головой знакомый голос. Да, несомненно знакомый, я где-то его уже слышал. Совсем недавно. И много раз. Я приоткрыл глаза. Алиджон уже был на ногах, на его лице блуждала слабая улыбка.

Перед нами стояло двое матросов с того суденышка, на котором мы приехали в Астрахань. Они только что вернулись из очередного рейса и спешили домой. Узнав Алиджона по его халату, матросы обрадовались встрече, но через мгновение веселость с них как рукой сняло. Они озабоченно переглянулись и, не сказав друг другу ни слова, остановили повозку.

— Садитесь.

Мы покорно уселись. Матросы отвезли нас на восточную окраину города, к себе в дом.

Одного из них, русского, звали Виктором, другого, татарина, — Хамдулло.

Виктору было сорок два года, он имел родителей, жену и детей; Хамдулло же, хотя ему и пошел тридцать четвертый год, был еще холост и жил с матерью-старухой да больной сестрой-вдовой. Матросы по соседству снимали комнаты у одного рыборотковца. Сначала Виктор привел нас к себе, накормил, напоил, а затем проводил к Хамдулло, у которого все-таки было просторнее. Тут мы и переночевали.

Перед сном мать Хамдулло напоила нас горьким отваром полыни, обмыла горячей водой ноги и натерла грудь, бока и спину каким-то ужасно пахнущим маслом. Хамдулло и его сестра уступили нам свои кровати.

Утром Хамдулло повез меня с Алиджоном в городскую больницу, однако мест в ней не оказалось и, промаявшись целый день, мы снова вернулись к нему. Чтобы обратиться к частному врачу, нужно было иметь самое меньшее три-четыре рубля, но откуда взять такие деньги? Двадцать восемь дней мы проработали в ватаге, но, не застав подрядчика, ушли оттуда без гроша.

Трое суток провели мы в гостеприимном доме Хамдулло. Но надо же иметь и совесть... Как ни трудно было идти, мы все же ушли в ватагу, к подрядчику, за заработанными деньгами...

Солнце палило нещадно, и каждый шаг доставлял нам невероятные мучения. Не хватало воздуха, к ногам словно привязали пудовые гири, в глазах темнело. А дороге не было конца. Кое-как добрались до

какого-то ручья, жадными губами припали к мутной воде. Напиться-то напились, а встать уже не смогли. Вдруг кто-то стал медленно-медленно покачивать землю подо мной и под это мерное покачивание я погружался в небытие, ощущая блаженство наконец-то обретенного покоя. Мир перестал существовать для меня.

Я не знаю, сколько продолжалось мое беспмятство. Помню только, что, открыв глаза, я увидел себя в сарае, на деревянной суфе. Огляделся — ни одной живой души, кроме коровы с теленком. Солнечные лучи пробивались сквозь щели в крыше. Чей это сарай и почему я здесь? Подобно человеку, который хочет вспомнить забытый сон, я напрягал память, но ничего не мог вспомнить.

Гудело в ушах.

Потом я увидел женщину, стоявшую на коленях сбоку; она пальцем разжимала мне стиснутые зубы и что-то вливала в рот с ложки.

— Съешь, съешь,— говорила она.— Ну съешь...

Затем в сарай вошли женщины, судя по лицам — казашки или калмычки. Я хотел заговорить с ними. Вместо слов с языка сорвался только стон, веки снова закрылись, женщины растворились во тьме.

Я снова пришел в себя, услышав конское ржанье и удары копыт. Приподнялся на локте, внимательно огляделся. Да, все тот же сарай. Та же пестрая корова с белым теленком стоят и равнодушно жуют... Но откуда взялись эти кони? Они были одной масти и все время били копытом землю, норовя лягнуть или куснуть друг друга. Все это я увидел при тусклом свете коптившего в углу светильника. Где взять силы, чтобы подняться, развести этих своенравных коней по разным концам моей обители? Каждый удар копыт больно отдавался в моей голове. Тело пылало в жару, будто было втиснуто в горящий кузнечный горн. Я звал мать, звал сестру, но никто не откликнулся.

Боже, как медленно тянется время! Кончатся ли мои муки? Хотя бы глоток воды. Только один глоток. Маленький глоток воды.

А кони все ржут и все бьются. Кто их поставил здесь?

На дворе петухи уже начали предрассветную переключку. И вот в сарай вошла с полными ведрами какая-то старуха. Она быстро успокоила коней.

«Да перейдут все твои беды на меня, где же ты была раньше?» — подумал я с сыновней нежностью.

Старушка направилась к моей суфе. Увидев, что я лежу с открытыми глазами, она что-то быстро спросила по-калмыцки. В ее голосе прозвучали заботливые материнские нотки.

— Су,— прошептал я.— Воды...

Она поспешно вышла и вернулась с ковшом воды. Я хотел было сесть, да где там! Меня как мельничным жерновом придавили. Старушка помогла мне поднять голову, и поддерживая ее, напоила. Когда я снова улегся, она пощупала мой лоб, вздохнула и молча отошла.

Я засыпал и пробуждался; то в одиночестве, то в окружении нескольких человек; кто-то кормил меня и поил. Однажды, помню, я выпил очень горькую воду и вдруг почувствовал, что душа вернулась в тело.

Жар спал, по телу разлилась истома. Я стал узнавать людей, навещавших меня, понимал, о чем они говорят. Тут были татары, и калмыки, русские и казахи. Но, в основном, за мной ухаживали жена и дети хозяина. Самого хозяина я долго не видел — он уходил до рассвета, а возвращался поздней ночью. Он работал арбакашем в рыболовецкой ватаге, примерно в полуфарсанге от дома. Он подобрал меня на дороге, привез к себе. Звали хозяина Эсином.

Но никто из женщин не мог сказать мне, куда делся Алиджон. Я попросил старушку позвать ко мне мужа, как только он вернется.

Эсин пришел ночью. Он сел в изголовье, устало сгорбившись и положив на колени большие, скрюченные подагрой руки. Расспросив меня обо всем, он сказал, что об Алиджоне ничего не знает, но обещает разыскать его.

Как-то, поздно вечером, в сарае появился Эсин и пригласил меня в дом. Едва я переступил порог, как две сильные руки стиснули меня в объятьях. Алиджон! Мой верный друг Алиджон! Слезы радости покапались по моим щекам. У Алиджона сердце оказалось крепче, но и ему спазмы сдавили горло, и он не мог вымолвить ни слова.

Больше месяца не виделись мы. И вряд ли довелось встретиться когда-нибудь, если бы Эсин с помощью арбакешев из других ватаг не напал на его след.

— Где же ты пропадал? — спросил я Алиджона, придя в себя.

Он ответил, что его подобрал на краю какой-то бахчи («как там очутился, не знаю») один маслодел и, положив на арбу, привез к себе в село.

— Он — русский, у него есть кустарная маслобойка, — рассказывал Алиджон. — Маслобойку крутит верблюд. Он поил меня верблюжьим молоком и за неделю поставил на ноги: верблюжье молоко — лучшее лекарство! Я раз двадцать ходил в город искать тебя, пока сегодня Эсин не пришел к моему хозяину и не привез меня сюда. Да, разные здесь люди — русские, татары, калмыки, а все одинаково добрые. Взяли больных, незнакомых людей в дом, ухаживали, как за братьями. Я работаю на его маслобойке. Маслобойка-то у него чужая. Деньги за работу и жмых идут в карман хозяину. Правда, хозяин не берет тех денег, которые маслобойщик зарабатывает ночью. Вот бедняге и приходится работать на себя по ночам. Днем он — на хозяина, а вечером я на него. Он меня кормит за это и даже деньгами обещал поделить-ся. Я не знаю, как его и отблагодарить!..

Мы провели ночь у меня в сарае. Алиджон рассказал, что как только встал на ноги, так сразу же пошел к подрядчику за расчетом. Но подрядчик и не думал платить нам. «Вам ничего не причитается!» — сказал он.

Пришлось Алиджону припугнуть подрядчика и только тогда тот отдал заработанные нами деньги.

Утром мы с Алиджоном уехали к маслоделу. Мы пробыли у него еще две недели, пока я окончательно не окреп. Алиджону надоела однообразная работа в темном помещении, он рвался на простор, к людям. Неудобно, правда, было покидать гостеприимного и сердечного хозяина, но все устроилось лучшим образом. Один курд из Калмыкии, желая обучиться профессии маслодела (масло они давят из клещевины и подсолнечника), пошел к нашему хозяину в ученики.

Мы тепло распрощались со спасителем Алиджона и вернулись в Астрахань...

* * *

Астрахань — административный центр большой южной губернии, город грязный и пыльный. В кварталах бедноты не было ни освещения, ни тротуаров, ни арыков. Зато воздух тут был пропитан зловонием. Всюду кучи мусора и мыльные лужи. Посреди улиц валялись дохлые, облезлые собаки и кошки. Во всем городе было две-три более или менее благоустроенные улицы, на которых жили торговцы. На этих улицах горели керосиновые фонари, проезжая часть была вымощена камнем, а пешеходные дорожки — кирпичом. Но в общем-то нефтяной Баку в сотни раз превосходил Астрахань чистотой.

Астрахань многим напоминала наши среднеазиатские города. На рыбном базаре и на городском рынке стояла такая толкотня, висел такой гул голосов, как на новогодних гуляньях в Самарканде или в Ширбудане, что за Бухарой.* За прилавками стояли русские, татары, азербайджанцы.

Амбалов здесь было такое множество, что если у человека есть груз весом в каких-нибудь десять фунтов, он все равно вынужден прибегать к их услугам. Амбалы окружали его плотным кольцом, не давали пройти, стараясь тронуть сердце мольбами о помощи и чуть ли не вырывая мешок или корзину из рук...

«Господи,— думал я,— сколько людей мечется в поисках куска хлеба! Стоит кому-то купить несчастный фунт хлеба, редьки или лука и сесть в углу перекусить — на него сразу же устремляются десятки голодных глаз, и кусок застревает в горле. В Баку тоже было немало амбалов, там они тоже ходили большей частью без работы, однако как-то ухитрились раздобыть десять-двадцать копеек: нет-нет, да и перепадала работа. Но здесь!.. Заработать медный пятак тут почитается величайшим счастьем, потому что не всегда и не каждому он попадается. Сколько же придется нам околачиваться без работы?»

Охваченные этими мыслями, мы бродили в поисках работы по городу и частенько, раз в два-три дня, захаживали к своим товарищам-матросам Виктору и Хамдулло — справиться о здоровье их семей. Сами они бывали дома редко, почти все время проводили в рейсах между Астраханью и Баку. Как-то, к общей радости, нам удалось их застать дома. Друзья выслушали рассказ о наших мытарствах и обещали помочь.

Слово свое они сдержали. Уже утром следующего дня Виктор и Хамдулло разыскали нашу жалкую лачугу и повели нас в контору управления речного пароходства, где познакомили с одним белобородым стариком, который оказался старшим над всеми амбалами. С ним все было договорено заранее, и он поставил нас на разгрузку судов. Мы заняли место двух амбалов, которых накануне искалечил свалившийся тюк. Счастье нам привалило огромное, но, услышав о своих предшественниках, мы не очень-то обрадовались. Такая беда могла приключиться с каждым из нас. Было жаль несчастных и, честное слово, если бы это им помогло, мы тотчас откалывались бы от места: ведь дома нас не ждали жены с детьми, а у тех, искалеченных, голодали большие семьи.

— Подумать только,— сказал Алиджон,— двое должны стать калекуми, чтобы двум другим нашлась работа.

Наша артель насчитывала сорок человек. Суда прибывали непрерывно — с каспийского рейда или с верховьев Волги, из Царицына и Саратова, из Камышина и Самары, из Нижнего Новгорода и Казани, из других мест. Мы должны были быстро разгрузить их, а затем тут же нагрузить другими товарами и проводить в обратный путь. Тысячи пудов перетаскивались за три-четыре часа под неусыпным оком надсмотрщика. Все делалось бегом. Увидит надсмотрщик, что кто-то пошел шагом,— выгонит с работы. И как ни велика была усталость, чувство страха оказывалось сильнее. Кому же хотелось остаться за бортом? Да еще в разгар сезона, когда приходилось думать и о завтрашнем дне? Волга в ноябре, а иногда и в октябре замерзала, и тогда тысячи амбалов сидели без дела в ожидании навигации.

Наша артель, в основном, состояла из русских и татар. Некоторые из них поначалу отнеслись к нам как к белым воронам. Однако сильный Алиджон очень скоро пришелся всем по душе, а его острый, прон-

* Праздник Нового года (Иди Навруз) в Самарканде и Бухаре отмечался семидневными шумными гуляньями. Бухарцы обычно тысячами толпами устремлялись за город, в деревню Ширбудан, и там развлекались.

зительный, так и полыхавший огнем взгляд укоротил языки самым дерзким и нахальным забиякам. Чаще всего мы грузили муку и пшеницу. Алиджон легко поднимал и относил по два пятипудовых мешка с мукой. Ни разу я не видел, чтобы он бегал, подобно другим. Он шел не спеша, по-богатырски печатая шаг, и надсмотрщик не говорил ему ни слова, потому что мой друг управлялся за двоих.

И днем, и ночью смена равнялась двенадцати часам, ни минуты меньше. Деньги выдавали сразу на всю артель. В среднем каждый получал по двенадцать рублей в месяц. Амбалы так уставали за смену, что ложились где придется, и вьючное седло казалось мягче подушки, а каменистая земля — пуховой периной... Кусок черного хлеба да ковш кислого квасу — вот и вся еда. Однообразная, без жиров, пища, мертвецкий сон на сырой земле, крепкая махорка и разгульная пьянка в получку — все это медленно убивало людей.

Однажды произошел случай, после которого Алиджон снискал уважение товарищей, а затем это уважение перешло и на меня.

Амбал обычно сам не мог поднять груз: ему помогали двое специально выделенных товарищей. Они поудобнее укладывали мешки на вьючном седле, чтобы амбал по дороге, особенно на трапе, не потерял равновесия. Но в спешке нередко случалось, что груз взваливали как придется; и тогда бывало несчастье.

Как-то мы с Алиджоном спускались в трюм. Бегущий навстречу нам амбал с громадным тюком сырой кожи вдруг поскользнулся. Еще мгновение — и амбал полетел бы вниз. С непостижимой ловкостью Алиджон, чуть ли уже не в воздухе, схватил амбала за руку и удержал на трапе.

— Лови! — крикнул он мне, и я подхватил тюк, соскользнувший с плеча амбала. Опоздай я на какую-то тысячную долю секунды, тюк рухнул бы вниз, придавив товарищей, работающих в трюме.

Мы стали героями дня. На нас приходило поглядеть даже портовое начальство вместе с белобородым стариком — старшим над всеми амбалами.

— Молодцы, персюки! — говорили они и похвала звучала наградой.

Но дорожке всех наград мы ценили дружбу, которой нас окружили товарищи.

Алиджон заменил двух амбалов, которые взваливали груз на спину. Надсмотрщик решил на этом погреть руки и в конце месяца при расчете выдал Алиджону всего пятнадцать рублей. Амбалы возмутились. Они потребовали, чтобы ему уплатили все двадцать четыре рубля, за двух амбалов, работу которых Алиджон выполнял.

— Хватит с него! — ответил надсмотрщик.

Тогда амбалы прекратили работу и ушли на землю. Надсмотрщик побежал к старшему, требуя наказать «подстрекателей». Белобородый старик принял его сторону. Дело принимало серьезный оборот: нас всех могли выгнать. Мало ли безработных было за воротами пристани?

— Решайте быстрее, — сказал белобородый.

Алиджон выступил вперед и, отказавшись от причитающихся ему дополнительных денег, попросил товарищей приступить к работе.

Вечером амбалы схватили нас под руки и, подталкивая в спину, потащили в кабак. Мы с трудом отговорились.

— Правильно! — воскликнул один из амбалов. — Не хотят, пусть идут с богом. Домой пусть идут. Э-эх! — и он с размаху бросил свою шапку в пыль. В глазах его мелькнуло озорное лукавство. — Нешто мы люди, што-ли? Вот человек! — ткнул он пальцем в Алиджона. — Мы одарим тебя. Одарим, ты не сумлевайся, божий человек...

В тот же вечер артельщики постановили, чтобы надсмотрщик удерживал у них из зарплаты по двадцать пять копеек в месяц и добавлял Алиджону.

— Я не встречал еще таких отзывчивых и добрых людей,— сказал Алиджон.

Мы проработали в порту до поздней осени, пока Волга не встала, а потом пришлось задуматься, как жить дальше...

На ярмарку

Следующей весной в Астрахани шла подготовка к большой Нижегородской ярмарке. Товары на ярмарку текли со всех сторон, и работы у амбалов было по горло. По словам наших старых товарищей-артельщиков, еще никогда через Астрахань не проходило столько грузов, как нынче. Из Персии и с Кавказа, из Дагестана и Хивы. Не было года, чтобы на Волгу не сходились в поисках жалких грошей тысячи голодных ртов — число их с каждым разом удваивалось и утраивалось,—однако нынче не хватало ни пароходов, ни амбалов. В дело были пущены парусные и даже давно стоявшие на приколе весельные суда, баркасы и шлюпки, а многие из амбалов подались в бурлаки. Тянуть тяжело груженные речные корабли против течения—дело нелегкое, но разве есть выбор у нищего? «Пусть будет козлом, лишь бы давал молоко»,— говорят в таких случаях.

Стоило нам с Алиджоном сойти на пристань, как на нас налетели подрядчики, наперебой приглашая к себе. Это были те самые люди, что набивали себе карманы, нещадно гоня бедных, изможденных голодом и непосильным трудом амбалов. Теперь они заливались соловьем, сулили золотые горы и молочные реки. Их стояло перед нами шестеро, и каждый тянул в свою сторону.

— Племянничек, твой хлеб будет плавать в масле. Иди ко мне, не бойся, деньги мы не считаем...

— Дядюшка, нынче ваше счастье разбужено криком петуха, о деньгах не думайте. К нам идите, целый год будете кататься, будто сыр в масле...

— Братя, смотрите не попадите впросак, в этом году золотой дождь хлынул не на купцов, а на земляков. Все ваши земляки работают у меня — идите ко мне!..

— Львенок ты мой, не оскверняй хлеб насущный, не оскверняй молоко матери, не бросай Джаббара, не гонись за рублем, не ходи к презренным. Иди сюда...

Так они пели нам, но мы-то знали им цену, и поэтому отвечали:

— Мы не будем амбалами, мы направляемся наверх* по своим делам.

Подрядчики не унимались, вертелись вокруг, словно мухи над медом. Еще бы, ведь каждая пара рабочих рук — это шестел новых банокот в их карманах! Да тем более сейчас, накануне ярмарки... Впрочем, отбиваясь от подрядчиков, мы еще ничего не слышали о ярмарке.

Первым, кто сказал нам о ней, был наш старый друг Виктор — матрос.

Виктор объяснил, что эта горячка долго не протянется. На Волге всегда бывает какой-то промежуток времени, когда грузы так и идут, успевай только разгружать да перегружать. В нынешнем году в связи с ярмаркой в Нижнем этот период несколько удлинится, но все равно он не вечен...

* Наверх, т. е. в города, лежащие вверх по течению Волги.

Рассказал Виктор и о том, как им удалось вынудить хозяина заключить с ними договор об условиях работы. Договор, скрепленный нотариусом, предусматривал ограничение рабочего дня, устанавливал выходные дни. Хозяин не имел права до конца сезона снижать заработную плату.

— Если подрядчик начинает цепляться к нам, мы живо договор на стол, и он, бедняга, ретируется,— смеялся Виктор. — Крыть-то нечем...

Нам это было внове: раньше ведь думали, что хозяин и подрядчик всеильны.

Вечером того же дня мы встретились с нашими прошлогодними товарищами-артельщиками. Они рассеялись по разным артелям и в один голос жаловались на засилье подрядчиков. Куда ни пойдешь, всюду одно и то же: подрядчики связаны круговой порукой. Даже сейчас, когда они грызутся между собой из-за каждой пары рук. Обещают амбалу многое, и по-разному, но жалованье платят одинаковое, тут подрядчиков водой не разлить.

Ночь мы провели в гостеприимном доме Хамдулло-матроса. Хамдулло посоветовал нам идти в бурлаки.

— Подрядчики никогда не будут платить амбалам больше,— сказал он. — Бурлаки зарабатывают лучше, да еще хозяева набрасывают «на радостях», если быстро доставите судно в порт назначения. Подумайте, если решите, скажите, я смогу вас устроить в бурлацкую артель. У меня двое братьев и дядя бурлаки...

Мы последовали его совету. Работа нашлась быстро. На приколе стояли три баржи. Их хозяева рыскали по Астрахани в поисках людей, намереваясь сколотить бурлацкую ватагу и, нагрузившись, двинуться в Нижний, да где найти в такой горячке безработных? Владельцы барж буквально повисли на нас, готовые принять все наши условия. С одним из них мы договорились, но выйти сразу не могли—команда набиралась с трудом. Пришлось нам с Алиджоном помогать хозяину. Как раз из Баку подошел пароход, с которым прибыла искать работу группа амбалов. Подрядчики накинулись на них, как несколько дней назад кидались на нас, но мы договорились с земляками быстрее. Что тут поднялось!.. Подрядчики грозили нам всеми земными и небесными карами; будь их воля, они растерзали бы меня с Алиджоном на куски или утопили в море. Однако пустить руки в ход они побоялись — нас было много, да и Алиджон выглядел весьма внушительно.

Владелец баржи пришел в восторг, и когда ватага двинулась в путь, он на первом же привале выставил в знак благодарности за оказанную услугу четверть водки. Мы не притрунулись к ней. Нашему примеру последовали и другие. А чтобы не соблазняться, четверть забросили в реку.

Мы ходили вверх по Волге до Царицына и Саратова, впрягшись в баржу, словно ломовые лошади. Лямки врезались в грудь, каждый шаг доставался невероятными усилиями, будто на ногах висели двухпудовые гири. Зато обратно баржа шла своим ходом, ее несло течением.

Один раз хозяин договорился с азербайджанским купцом доставить на ярмарку персидские ковры. Арендную плату купец платил большую по при одном неременном условии: прибыть в Нижний точно к установленному договором дню. В противном случае хозяин должен был заплатить неустойку, в два раза больше, чем причитающееся ему вознаграждение.

Как назло, поднялся встречный ветер. Он дул с такой силой, что отнесил и баржу и нас, бурлаков, назад. Сейчас даже трудно сказать, как нам удавалось двигаться. Двухдневную дорогу мы осилили за три дня. На четвертый день хозяин не выдержал нервного напряжения и впрягся в баржу сам. Но какая от него польза? Разве тщедушная сила од-

ного способна справиться и с ветром, и с течением, и с тяжело груженой баржей?

Хозяин хватался за голову, ловил каждого встречного и предлагал идти в бурлаки, но все было тщетно...

* * *

В Царицыне нам повезло. День уже клонился к вечеру, когда недалеко от пристани нам попала группа амбалов, расположившихся у самого берега реки. Они что-то варили на костре и были веселы.

— Бедняги, наверное, получили сегодня жалованье, оттого и веселятся,— сказал Алиджон.

Подошли ближе, глядим, а там трое из той артели, в которой мы работали в прошлом году. Одного из них звали Султан-гиреем. Они как увидели нас, тут же подбежали, по-братски обнимая и целуя, потянули к костру. Их товарищи, число около двадцати, потеснились и не хотели даже слушать, что нам некогда. Они сами поставили баржу на якорь, а в ответ на возражения нашего хозяина только рассмеялись.

— Не бойся,— сказали они,— мы сами дотащим твою до пристани и даже чакримов* на двадцать дальше, если тебе так спешно. Только вот беда: вперед сейчас не пройти, отсюда до пристани два чакрима, а там идут три таких же бандуры, все равно придется ждать.

Хозяин покорился. Давно нам уже не приходилось видеть такое восторженное, я бы сказал еще — ласковое, любовное отношение, которое выказывали наши товарищи. Мы отдохнули, сытно поужинали, настроение было преотличное — казалось, теперь можно шагать до самого Нижнего!. Амбалы уговаривали меня с Алиджоном переходить к ним. Лукаво поглядывая на хозяина, мы подробно расспросили, как им платят и сколько приходится работать. У хозяина испарина даже выступила на лбу.

— Вы разорите меня!— воскликнул он, не сдержавшись.— Шутка ли, платить такую неустойку... Я буду протестовать, в суд подам!

Амбалам здесь платили больше, чем нам в прошлом году. Но Алиджон поспешил успокоить хозяина.

— Слово мужчины всегда остается словом,— сказал Алиджон.— Мы не подведем вас.

Наступила пора хуфтана,* в небе поплыла луна, и мы поднялись. Вся артель амбалов встала следом за нами и впряглась в баржу. Хоть по неписанным бурлацким законам и не положено обгонять суда, тем не менее двое из наших новых товарищей, вооружившись канатом, ушли вперед. Расстояние в два чакрима мы покрыли меньше, чем за десять минут. Мешавшие нам баржи стояли, пришвартовавшись к пристани. Те двое, что уходили вперед, прыгнули на палубу нашей баржи и, отталкиваясь длинными баграми от бортов стоявших барж, отвели наше судно подальше от берега. Канат, брошенный нам, натянулся — и мы разом вырвали свое судно вперед.

Таким образом мы миновали царицынскую пристань. У нашей баржи словно выросли крылья. Вдруг Алиджон подошел к хозяину и о чем-то спросил его. У хозяина лицо расплылось в широкой улыбке. Алиджон быстро возвратился.

— Порядок,— сказал он нашим новым товарищам.— Теперь взбирайтесь на палубу и спите, после полуночи смените нас.

— Нет, вы устали больше, вы отдохните, мы потянем до утра,— ответил Султан-гирей, ходивший у амбалов старшим.

* Чакрим — единица измерения длины, равняющаяся примерно одной версте.

* Хуфтан — последняя молитва, совершаемая через полтора-два часа после захода солнца.

Их было почти в два раза больше, и баржа шла значительно быстрее прежнего. Когда мы взобрались на палубу, Алиджон сказал:

— Артель сегодня получила месячное жалованье. Я сказал им, сколько платят бурлакам, уговорил присоединиться к нам. Видел, как обрадовался хозяин?

— Но как он решился нанять сразу двадцать человек? Какая ему выгода?

— Какая выгода? — усмехнулся Алиджон. — Теперь мы будем двигаться, не останавливаясь, хозяин успеет оборотиться лишний раз, вот тебе и лишние деньги. Да кроме того, владельцы грузов за быструю доставку платят по договору наградные. Хозяин не дурак, я не успел и рта раскрыть, а он уже все понял и подсчитал. Он, поди, до сих пор не верит своему счастью.

— Ну хорошо, товарищи наши подработают, хозяину выгода, а нам что?

— Облегчение. Завтра мы разделимся на две-три группы, и каждая будет работать по шесть часов. Понимаешь? И мы не будем так уставать, и баржа пойдет быстрее. Я очень хочу побывать на ярмарке. Хамдулло говорил, что там соберутся купцы со всех концов света...

Мы добрались до Нижнего-Новгорода почти через месяц. За это время я о многом передумал. Меня покорила могучая полноводная русская красавица Волга.

— Интересно, — думал я, — сколько миллионов людей кормит Волга? Сколько миллионов она согревает и одевает, скольким дает кров над головой! Жаль только, что большинство этих людей работает не на себя, а на всяких там подрядчиков и заводчиков, владельцев пароходов и барж, на купцов и богатеев, которые не знают, как растёт рожь и пшеница, но заключают торговые сделки на сотни тысяч тонн зерна и фуража! Непосильный труд — удел миллионов, а вся сладость жизни достается толстопузым или тщедушным владельцам денег!

В Нижний Новгород, привольно раскинувшийся на слиянии Оки с Волгой, казалось, съехались все народы, которые существуют на свете. Улицы города кишели степенными русскими купцами, юркими французами, неторопливыми англичанами, порывистыми итальянцами и рассчетливыми немцами. Всюду мелькали крашенные хной бороды персидских и азербайджанских купцов, белые чалмы бухарцев, длинные камзолы татар, безбородые лица казахов. Прямо на улицах показывали свои чудеса китайские фокусники. Едва поднималось солнце, как открывались бесчисленные ларьки и лавки и все начинало вертеться в азарте купли-продажи, оглашалось криком и гулом. Амбалы крутились в этой сутолоке, точно мельничные жернова, без них не могли обойтись ни купцы, ни владельцы столовых и пароходов, ни покупатели.

Торговец коврами, арендовавший нашу баржу, был очень доволен тем, что мы доставили его товар раньше обусловленного договором срока. Ковров на ярмарку повезли видимо-невидимо. Ковры одного купца расстилали на коврах другого. Когда покупатель хотел выбрать что-нибудь поярче и покрасивее, приходилось ворошить целую гору ковров. Для этой цели купцы нанимали амбалов; те быстро раскидывали ковры, давая хозяину возможность показать товар лицом.

Амбалов, однако, не хватало, а без них купец был, как без рук. И на ярмарке нередко можно было наблюдать, как два почтенных купца ссорились из-за амбалов, иногда из-за этого они даже хватались за грудки и расходились, унося по горсти вырванной друг у друга бороды. Выигрывал в этих потасовках обычно третий: воспользовавшись суматохой, он уводил покупателя и амбалов к своему товару.

Наш купец Ходжи Шамсиддин, родом из Ширвана, был стар годами и слаб здоровьем. Но говорят же, что «умный никогда не будет

беспечным». Он посадил меня и Алиджона рядом с собой, поговорил об условиях нашей работы, потом предложил жалование больше нашего, с тем, чтобы до тех пор, пока ярмарка не закроется, мы стояли рядом с ним. Больше того: он уговаривал нас поехать в Тифлис и работать в тамошнем его магазине.

Все наши бурлаки тоже устроились работать в Нижнем. Мы сняли в караван-сараяе одну большую комнату и стали жить, как и раньше, артелью.

Дела у нашего купца пошли быстро. Ковры продавались один за другим. Да и нам повезло: предоставленные сами себе по вечерам, мы облагодили весь этот большой, шумный, дымящийся фабричными и заводскими трубами город.

Когда ярмарка закрылась, амбалы снова остались не у дел. Теперь до будущего года потянутся безрадостные дни, наполненные заботами и желанием перехватить где-нибудь хотя бы несколько медных монет, только на хлеб да на воду. Большинство из них были безземельные крестьяне — русские, татары и чуваша, которым надоело батрачить на деревенских богатеях, и они подались в город «шукать счастье».

— Да где оно, это счастье? — вздыхали они. — Видно, спрятано за семью морями, за семью замками...

Наш Ходжи Шамсиддин, сбыв ковры, накупил всевозможные товары, которые надеялся продать с большой выгодой у себя в Тифлисе. Мы погрузили их на арендованные баржи, спустились в Астрахань, а оттуда направились в город на Куре. Нам пришлось сделать немало пересадок, и всюду мы перегружали товары Ходжи: сперва с парохода на пароход, потом с парохода на поезд, а с поезда на арбу.

Те, у кого есть деньги и власть, редко бывают благодарными. Мы сделали свое дело, как говорят, перетасили осла через грязь — и отношение Ходжи Шамсиддина к нам стало иным.

Но что делать? Мы остались зимовать в Тифлисе, в городе, который был столицей всего Кавказского края и где, кроме грузин, жило много азербайджанцев и персов, армян и русских.

— Проживем, — уверенно сказал Алиджон.

Лицемер

Есть в Тифлисе так называемый «Шайтан-базар» — самое, пожалуй, многолюдное место города, скопище всех «семидесяти двух языков земли»,* бойких перекупщиков продуктов и торговцев всевозможной рухлядью, притон воров и убийц. На этом базаре были магазины и Ходжи Шамсиддина.

Ходжи славился религиозностью и благочестием. Он не забывал ни одного предписания аллаха и не только исправно читал по утрам коран, а потом совершал все пять намазов и самоотверженно раз в год держал рузу* — это делают все мусульмане, верящие в единого бога и его пророка Мухаммеда. Нет, Ходжи Шамсиддин еще и призывал воздерживаться от прикосновения к вещам нечистым и поганым и стараться избегать поступков, богом не запрещенных, но не одобряемых. Без ритуального омовения и гадания по корану или на четках он не совершал ни одной сделки, не покупал даже риса и масла для дома, даже обыкновенной лепешки. Четки у него всегда были в руках, молитвы и славословия духовным лицам висели на языке. Святость Ходжи доходила до того, что, направляясь в гости, он высылал вперед слугу со своей посудой и своим полотенцем для рук. Вечером он приказывал вымыть горячей водой дверные ручки и прилавки магазина —

* Согласно корану, на земле живет всего семьдесят два народа.

* Руза — мусульманский пост, длящийся месяц.

«всякий неверный мог прикасаться к ним». Сам Ходжи считал только крупные суммы, мелочь передоверял продавцам и приказчикам. По-считает, прикажет завернуть покупателю товар и тут же кричит специальному мальчишке:

— Воды!

Он трижды омывал руки, и такое «очищение» Ходжи было притчей во языцех; у одних оно вызывало почтение, у других — усмешку. Я не сомневаюсь, что многие знали действительную цену благочестию нашего нового хозяина, этой старой лисы, которая, если выгодно, не задумываясь, превращала «чистое» в «нечистое» и поганое — в «чистое».

Ходжи Шамсиддин считал недозволенным покупать такие продукты, как масло, пендир, свежие фрукты и зелень у людей другой веры. Сам он с продавцами поэтому не встречался, покупки делали сыновья и доверенные лица, причем, они всегда говорили Ходжи, что купили у правоверного. Ходжи благословлял их, хотя и знал, что такие товары продают крестьяне-грузины из окрестных сел.

Ходжи хорошо знал, что шариат запрещает ростовщичество, но в каждом законе есть лазейки, и о них Ходжи был осведомлен еще лучше. Он брал в банке из расчета пяти-шести процентов годовых ссуду и отдавал эти деньги тому, кто просил в долг, но уже из двенадцати, а то и двадцати четырех процентов годовых. Для того, чтобы все выглядело по шариату, он пускался на такую хитрость.

— Сынок, — говорил Ходжи человеку, попросившему деньги в долг, — я продам тебе этот ковер за сто рублей. Купил?

— Да, Ходжи-бобо, купил.

— А теперь, может быть, продашь мне свой ковер?

— Продам, Ходжи-бобо.

— За сколько?

— Ваша воля.

— За семьдесят пять рублей отдашь?

— Отдал.

— Хорошо, за тобой осталось двадцать пять рублей. На, возьми еще сто. Теперь ты мне должен сто двадцать пять рублей.

Иногда это выглядело немного по-иному. Ходжи Шамсиддин говорил:

— Сынок, купим на двоих этот ковер?

— Купим, Ходжи-бобо.

— Очень хорошо, мы купили его за сто рублей. Но я продам тебе свою долю, хочешь?

— Хочу. За сколько?

— За двадцать пять рублей.

— Купил.

— На тебе еще семьдесят пять, и ты мне будешь должен ровно сто. Правильно?

Сумма, которую он недодавал, равнялась сумме процентов с отданных в рост денег.

Он пускал в оборот и деньги, которые приносили ему на хранение кустари. В их глазах он ведь слыл человеком благочестивым. Откуда им было знать, что он отдает собираемые ими по грошу да алтыну деньги в рост и кладет себе в карман большие проценты?

Ходжи владел ковровым магазином, ювелирной лавкой, магазином шелковых тканей, бакалейными и посудо-хозяйственными лавками и ларьками, мельницей, баней, кабаками и винными подвалами. Его богатств было не счесть, и, несмотря на старость и слабое здоровье, он продолжал умножать их путями отнюдь не праведными.

Бог, однако, «прощал» его, потому что все обязательные и не обязательные предписания корана — «фарз» и «макрух» — он соблюдал свято.

Он был шиитом и, как все шииты, держал траур не только по проку Мухаммеду, но, дважды в год, в месяцы «мухаррам» и «сафар»,* — и по одному из своих имамов. В день траура готовился обед, который раздавался всем пришедшим оплакивать имама.

На такие обеды Ходжи Шамсиддин приглашал к себе персидских и азербайджанских купцов и кое-кого из кустарей-ремесленников. Бедняки, амбалы и рабочие приходили сами: кто из религиозных побуждений, а кто из желания перекусить на тризне блаженного имама.

Распорядители, подобранные Шамсиддином из числа доверенных лиц, хорошо знали нрав хозяина и строго следовали его указаниям. Знатных священнослужителей, сиятельных вельмож и купцов они провожали в почетный угол, приглашенных кустарей-ремесленников усаживали ближе к выходу, а явившихся бедняков — где придется, на веранде или во дворе. Полные сахарницы, жирный плов и сладкая халва плыли на руках к «людям почтенным»; голытьбе доставались объедки и стакан жидкого чая с двумя кусочками сахара. Ходжи считал, что каждый получает по заслугам и коль скоро тебя не звали, то нечего взыскивать.

Мясо, масло, хлеб, рис и сахар для этих обедов присылали, по обычаю, участники тризны: сам он не тратил ни копейки. Он даже зарабатывал на этом обеде.

Об этом мы узнали от Мусо-амака, одного из распорядителей Ходжи Шамсиддина. Он обычно стоял у самоваров и разливал чай. Родину он покинул еще молодым, в один день с Ходжи, и вместе с ним приехал в Тифлис, — но Шамсиддин нажил громадное состояние, а он, будучи сапожником, не сумел скопить и на ржавое шило.

Как-то в конце одного из поминальных обедов Ходжи уже велел ему складывать посуду, как вдруг пожаловали высокие гости: сам верховный шейх мусульман всего Кавказа и его правая рука, толкователь шариата — муфтий. Старший сын Ходжи со всех ног бросился к самоварам.

— Мусо-амак, быстро подайте четыре стакана крепкого чая! — сказал он.

Мусо-амак взорвался:

— Твой отец, сухой рожденный, говорит не давай, а ты, сукин сын, говоришь давай! Кого мне из вас слушаться, сыновей проклятых отцов?!

Он сказал это так громко, что услышали все, кто находился и в комнате и во дворе. Сын Ходжи растерялся.

— Хорошо, хорошо, дядечка, не давайте. Только больше не кричите, не позорьте...

— Позорить? Вор и без того лишен хорошей репутации!..

Я был в тот вечер подручным у Мусо и все слышал. Он сказал то, что у меня давно наболело на сердце. Потом мы долго смеялись с Алиджаном, которому я поспешил рассказать об этом.

— Мусо-амак резанул правду, — сказал Алиджон. — Он, Салим, многое знает...

С тех пор мы сдружились со стариком и, коротая длинные зимние вечера, слушали повесть о лживой и коварной жизни благочестивого праведника Ходжи Шамсиддина. Перед нами словно лежала большая книга, мы листали ее, страницу за страницей, проникая в самые глубокие тайны нашего хозяина.

— Ходжи Шамсиддина совесть не тревожит по ночам, — сказал Мусо-амак, размешивая ложкой чай. — Но людям полезно знать, какими бывают их богобоязненные братья...

* *Мухаррам* — первый месяц лунного года, сафар — девятый; соответственно — январь и сентябрь.

— Когда Шамсиддин (он еще не был Ходжи) приехал в Тифлис, — говорил Мусо-амак, — он стал учеником у одного торговца горячим кофе, выполнял всю черную работу: кипятил самовары, колот дрова, мыл грязную посуду. Через год хозяин допустил его обслуживать посетителей, и тут Шамсиддин быстро нашел общий язык с разными преступниками, готовыми на любое грязное дело. Помогая им прятать и сплавлять товары, поступающие из Турции и Персии, он скопил кое-какие деньги, перекупил у хозяина кофейное заведение и переоборудовал его в небольшой ресторан. Кажется, о чем еще мечтать человеку, который пришел в город с жалкими пятаками в карманах и года за два сам стал хозяином? Живи, радуйся, что так удачно устроился. Но Шамсиддин мечтал о большем. Воспользовавшись тем, что опиекурильни были запрещены и используя связи с контрабандистами и другими уголовниками, он оборудовал в небольшом домике, примыкавшем к ресторану, опиекурильню и стал обслуживать наркоманов.

Вы спрашиваете, знала ли об этом полиция? Конечно, знала, очень хорошо знала, но и полицейским же надо жить! Не было дня, чтобы в рестораник Шамсиддина не заглядывал кто-нибудь из полицейских чинов. Бесплатно откушав и запив сытный обед бутылкой хорошего вина, он уходил, унося еще и немалую толику денег «на карманные расходы». Дело Шамсиддина так расцвело, что «чакида» он уже покупал пудами и не брезговал контрабандным табаком и чаем. Он не только сплавлял табак и чай, но и занимался делами похуже. Чем больше становилось у него денег, тем наглее он делался.

Здесь Мусо перевел дух, наливая себе новый стакан чая, а Алиджон, который слушал его с жадным любопытством, загадочно усмехнулся.

Есть и на черта гром

(Две страницы из повести Мусо)

— Шамси, этот сын проклятого отца, — продолжал старик, — содержит специальных людей, которые за обед и осьмушку «чакида» поставляют ему новых и новых клиентов опиекурильни. Заболит у человека что-нибудь, они и тащат его за собою — две трубки выкурят — глядишь, боль притупляется, голова хмельна, на душе весело. Шамси не скупился и поначалу отравлял новичков бесплатно, а когда они втянутся, тут он и дерет с несчастных по семь шкур. Он сознательно отравляет людей. Тысячи благодаря ему стали наркоманами, им хлеба не давай, дай только выкурить одну трубку! Какие золотые руки и светлые головы погибли из-за него! Сколько мастеров-умельцев разорилось!

— Но если он такой подлец и вы все это знаете, почему же прислуживаете ему? — спросил я.

— Спаси и помилуй! — воскликнул Мусо. — Я как узнал об этом, боюсь переступить через его поганный порог. Когда мы только приехали в Тифлис и он был беден, мы дружили, словно братья, а потом я порвал с ним связи. Если ты говоришь о том, что я готовил чай на тризне Хусейна, то знай, — я не ему ходил прислуживать, а чтил память святого, да будет она благословенна, а если что и съел там, то ведь не из кармана Ходжи: это «назр»*, сделанный на деньги людей...

Да, он был благороден, этот старик, которого не сломила жизнь, который пронес через все ее невзгоды человеческое достоинство и до

* Назр — подорошения по обету.

сих пор зарабатывал свой кусок хлеба своим трудом, не склоняясь перед деньгами имущих...

— Другого такого законченного негодяя, как ваш хозяин Ходжи,— продолжал между тем Мусо-амак,— я не встречал под этим небом. Сколько бы вам ни рассказывать о нем, не расскажешь и одной тысячной всего. Он нажился на торговле контрабандными товарами. Однако говорят же, что аппетит приходит во время еды,— вскоре подобная «мелочь» уже не удовлетворяла его, и он задумал дело, с большим размахом, и не столь опасное.

Деньги отворяют на земле все двери. Ходжи открыл чаеразвесочную и табачную фабрики и с помощью доверенных лиц скупал в Батуми черный индийский чай, зеленый китайский и греческий табак. Все товары, которые по Черному морю поступали из-за границы, осматривались на батумской таможне и только после уплаты пошлины могли появляться на рынке. Ходжи завязал знакомства с какими-то большими чиновниками из канцелярии самого наместника Кавказа, который приходится дядей царю. Эти канцеляристы помогли ему получить разрешение на уплату таможенного сбора после того, как грузы прибудут из Батуми в Тифлис.

На фабриках Ходжи ежедневно развешивались сотни пудов чая и табака и каждый день таможенный чиновник пересчитывал пачки и бандероли, ставя на них печать государственного Акцизного управления. Пошлину он взимал с общего количества этих бандеролей и пачек. Работа на фабриках шла день и ночь. Вечером, после работы, Ходжи приглашал чиновника в свой ресторан и, спойв его до бесчувствия, вытаскивал из его кармана печать. Пока чиновник спал, Ходжи печатавал неучтенный товар.

— Неужели таможенный чиновник не догадывался об этом? — перебил я рассказчика.

— Откуда ему догадаться? Пока проспится, дело уже сделано, печать снова у него в кармане,— ответил Мусо-амак.

— Ну и старик! — прихлопнул Алиджон ладонями.— Дряхл-дряхл, а и шайтану¹ выкрасит руки хной!

— Мусо-амак, но почему вы, зная обо всех проделках этого негодяя, не сорвете с него маску? — спросил я.

— Эх, Салим, Салим, неужто ты думаешь, что это кому-нибудь поможет? Если не считать его опиекурильни, то ведь так получается, что он даже выходит благодетелем, потому что на его фабриках, в его магазинах кормятся своим трудом сотни наших соотечественников-мусульман, попавших сюда, на чужбину.

В словах старика была правда, и тем не менее мы с Алиджоном решили что-то предпринять, чтобы хоть как-нибудь досадить этому исчадию ада. С наркоманами бороться бесполезно: тот, кто втянулся, будет курить не здесь, так в другом месте, ему все равно... Но почему бы не заставить Ходжи прекратить развращать несчастных? Почему не заставить его бросить заниматься этим мерзким делом? Сказал же Мусо-амак, что он сознательно ловит людей неискушенных и сознательно отравляет их...

Мы решили написать Ходжи и его посредникам письма, но без подписи и, пригрозив мстью, предложить закрыть свою опиекурильню.

Не помогло.

Мы не отступали и решили привести в исполнение свою угрозу.

— Их надо пугать не словом, а действием,— горячился Алиджон, который никогда не отступал от задуманного.— Надо доказать, что есть и на черта гром!..

Как-то поздним вечером мы забежали в один из многочисленных тифлисских подвальчиков перекусить.

— Придумал! — сказал Алиджон и кивнул на двух грузин, сидевших за соседним столиком, уставленным вином.

С грузинами мы договорились быстро: за небольшую плату они согласились найти путь к четырем посредникам Ходжи, устроить на наши деньги угощение и, напоив, оставить их в наших руках. Чтобы дело не затягивать, мы часть платы дали вперед.

Надо было видеть искаженные страхом лица наших врагов, когда они валялись связанными у нас в ногах! Они плакали, словно дети, и на чем стоит свет кляня Ходжи и его опекекурильню, молили о пощаде, обещая навсегда покончить со своим гнусным промыслом.

Ходжа Шамсиддин, боясь разоблачения, прикрыл опекекурильню. Но нам, конечно, надо было уезжать из Тифлиса. На этот раз мы решили двинуться ближе к моим родным местам. В Туркестан...

Джаноб* Али

...Тогда только начинали строить Туркестанскую или, как ее еще называли, Закаспийскую железную дорогу. Рабочей силы не хватало, вербовщики и подрядчики сбивались с ног, и Алиджона им, наверное, сам бог послал. Мой названный брат взялся им помочь. Не прошло недели, как он уже собрал вокруг себя почти тысячу человек.

Тут не было никакого чуда: просто ему легче было найти общий язык с земляками-амбалами и чернорабочими, которые покинули родину и пустились в дальние странствия искать лучшей доли. Большинство из них оставили дома жен и детей, стариков-родителей, малолетних братьев и сестер. Они были готовы на любую работу, чтобы только суметь выкроить и послать родным несколько жалких рублей. Многие скитались на чужбине уже десятки лет, но, так и не найдя счастья, махнули на все рукой. Алиджон словно встряхнул их ото сна, заразил своей неуемной энергией и увлек за собой.

Управление строительством, выдав завербованным пятирублевый задаток, отправляло их группами по двести-триста человек в Узунду. С последней группой погрузились на пароход «Князь Константин» и мы с Алиджоном.

Через день пути «Князь Константин» бросил якорь в памятном нам Петровске. На палубу поднялся какой-то чиновник в инженерской черной куртке и фуражке с молоточками и спросил Алиджона. Рабочие направили его к нам на корму. Он был русским, но, как выяснилось позже, долго работал в Азербайджане и знал язык.

— Салом алейкум! — сказал он нам, приложив руку, по нашему обычаю, к груди, потом достал из внутреннего кармана лист бумаги и протянул Алиджону. — Вам телеграмма.

— Мне? От кого?

— От начальника Управления, его превосходительства генерала Анненкова.

Мы удивленно переглянулись. Алиджон пожал плечами и, повертев телеграмму, показал ее мне. Ошибки не было, я по складам разобрал: «Господину Али...»

— Примите, джаноб, — улыбнулся я.

По-русски мы читали плохо, и телеграмму по нашей просьбе распечатал сам чиновник. В ней Алиджон назывался не только господином, но и «агентом по вербовке рабочей силы на строительство Туркестанской железной дороги». Его превосходительство генерал Анненков просил моего названного брата завербовать в Петровске, Баку, Астаре и других городах как можно больше рабочих. «Сейчас, — говорилось в телеграмме, — в Узунде собралось около тысячи человек. Этого явно не-

* Джаноб — господин.

достаточно, нужно присгупать к работам, имея минимум три тысячи рабочих. Я приказал нашим агентам в Баку и Астаре оказывать Вам всяческую помощь, снабжать деньгами и отправлять пароходом завербованных Вами людей. В течение двух месяцев мы должны укомплектовать строительство рабочей силой. Все Ваши расходы будут оплачиваться, услуга, оказанная нам, — не забыта».

Чиновник, прочитав телеграмму, одну руку почтительно приложил к груди, а другой сделал жест, приглашающий Алиджона последовать за ним на пристань.

— Я не один, — ответил Алиджон.

Чиновник пригласил и меня. Подхватив свои пожитки, мы сошли на берег. Нас привезли в какой-то небольшой белый домик, неподалеку от городской управы и сказали, что можем здесь располагаться.

Но в Петровске дела не клеились. Мы облазили весь город, побывали и на базаре, и на железнодорожной станции, и на пристани, однако за пять дней удалось завербовать всего тридцать шесть человек. Оставшаяся здесь больше не имело смысла, и мы поехали в Баку.

Баку не обманул наших надежд. Ничто здесь не изменилось: те же толпы амбалов на улицах и так же с утра до поздней ночи за жалкие «шохи» и «аббасы» гнули спины рабочие нефтяных промыслов. Они готовы были бежать отсюда хоть на край света и, услышав об условиях работы на строительстве железной дороги, о том, что в задаток выдается целых пять рублей, — для некоторых это чуть ли не месячный заработок, — тут же записывались. В первый же день мы набрали около двухсот человек, во второй и третий — и того больше. К нам тянулись все новые и новые люди, и старший агент Управления, маленький, толстенький, как шарик, человек только разводил руками:

— Вам везет, — говорил он.

Но на четвертый день случилась беда. Едва мы вошли в чайную купца Мешади Салмана, где собирались записать желающих ехать в Узунду, к нам подошли два здоровяка. Их злые красные лица с торчащими пиками усов, большие револьверы на поясах и отделанные серебром ножи длинных дагестанских кинжалов не предвещали ничего хорошего.

— Эй, земляки, что вам здесь нужно? — басом спросил один.

— А ну проваливайте отсюда! — гаркнул второй и положил руку на кожаную кобуру.

Мы не собирались связываться с ними и ушли.

— Вечером приходите к пристани, там у нас рядом контора, — сказал Алиджон людям, жаждущим работы повыгодней.

Где бы мы в тот день ни собирались составлять списки, всюду нас встречали эти бандиты. Их наняли хозяева промыслов, испуганные возможностью остаться без рабочих.

— Как бы они не явились и вечером, — сказал я Алиджону.

— Да-а, — задумался он. — Придется обращаться в полицию.

Старший агент связался с кем следует и вечером к конторе был прислан полицейский наряд. Народу собралось много. Хозяева подослали бандитов разогнать людей, но, увидев полицейских, те предпочли отойти в сторону. К полуночи мы оформили документы больше чем на четверста человек и в ту же ночь отправили их прузовым пароходом в Узунду.

Однако наутро к нам никто не пришел.

Алиджон ходил мрачнее тучи. Полицейские ушли. Через два-три часа старший агент решил выйти на улицу осмотреться. Он вернулся очень быстро.

— Не пускают, каналы! — возбужденно сказал он. — Встали башибузуки на всех перекрестках и не пускают людей к нам. Как вам это нравится?

Но не в правилах Алиджона было бояться. Его знали уже на всех промыслах, во всех караван-сараях и чайных, на всех базарах города. Амбалы и рабочие здоровались с ним почтительно и, если кто собирался ехать, останавливал прямо на улице и излагал свое решение. Алиджон отвечал таким, чтобы узнавали, когда идет первый же пароход на Узунду и приходили прямо на пристань — там внесем в список, говорил он, там же выдадим и деньги.

В тот вечер в Узунду уходил грузовой пароход «Орел». Мы вместе со старшим агентом стояли у трапа. Результаты были отрядные: многие привели с собою по десять и больше человек. Людей собралось столько, что часть из них капитан отказался взять на борт.

— У нас не хватит на всех питьевой воды, — объяснил он.

Осталось более ста человек... Алиджон сказал, чтобы завтра пришли на четвертую пристань и добавил, что, если приведут с собою еще кого-нибудь, то получат по десять копеек за каждого приведенного.

К седьмому дню нашего пребывания в Баку было завербовано и отправлено более двух тысяч рабочих.

Старший агент не соглашался идти на дополнительные расходы и платить по десять копеек помощникам моего друга. Алиджон, не долго думая, платил из своего кармана. В день он тратил по два-три рубля, и скоро вынужден был взять у старшего агента под зарплату пятнадцать рублей.

— Удивляюсь я вам, — крутил головой старший агент.

Однако он дал знать о стараниях Алиджона в Главное управление строительства дороги, и оттуда вскоре пришло письмо за подписью генерала. Адресовано оно было самому Алиджону. Генерал благодарил его и просил продолжать вербовать рабочих, а старшему агенту приказал премировать Алиджона двухмесячным жалованьем и передавать ему по тридцать рублей ежемесячно на расходы, связанные с вербовкой.

Все шло хорошо, если бы не владельцы нефтяных колодцев, небольших заводов и мастерских, и купцы, которых наша деятельность крепко ударила по карману. Раньше безработные носились по улицам Баку, словно мухи над грязным столом. Если кому-то нужен был амбал или чернорабочий, ему стоило только раскрыть рот, как тут же его окружала толпа оборванных, грязных, галдящих людей, наперебой предлагавших свои услуги:

— Мне прикажите, господин...

— Хозяин, возьмите меня...

— Не нужны мне деньги, дайте только кусок хлеба...

Теперь, чтобы удержать рабочих, хозяевам пришлось увеличивать жалованье. Иного выхода не было. Они довели его до 18 рублей — столько же в Туркестане получали и строители железной дороги. Выходило так на так, и многим теперь не было смысла уезжать из Баку.

Но Алиджон не унывал...

Алиджон проснулся ночью и стал одеваться.

— Ты куда? — спросил я.

— Сейчас придет пароход из Астры, — ответил он.

— Ты разве должен кого-то встретить?

— Может быть, — сказал Алиджон, — придет кто-нибудь искать работу. Прямо на пристани оформим документы, выдадим деньги и проводим в Узунду. Конечно, работа на строительстве железной дороги — только временная передышка для безработных, но ведь ничего лучшего мы с тобой все равно сделать не можем.

Разбудили старшего агента.

Пароход привез более ста персов и курдов, впервые пустившихся в дальний путь. Большинство из них было из Ардебилля, Сароба и других городов и сел Южного Азербайджана. Они затравленно озирались,

не зная, какая судьба уготовлена им в этом большом незнакомом городе.

Несчастный узнает несчастного быстро. Мы собрали их в одном углу. Они согласились ехать в Туркестан. Солнце поднималось, а мы уже провожали их в Узунду.

Окрыленный удачей, Алиджон решил выходить на пристань к каждому пароходу. Трижды нам удавалось договариваться с приезжающими, но на четвертый случилось...

Предприниматели, которым нужны были рабочие, послали своих людей встречать пароход из Астры. Вскоре появились на пристани и мы. Четверо или пятеро кинулись к нам и посоветовали немедленно убираться с пристани. «Пристрелим и сбросим в море»,— угрожали они.

Старший агент, втянув голову в плечи, сделал нам знак удалиться. — Безобразие, безобразие,— шептал он, сокрушенно разводя руками.— Ах, бандиты, ах, головорезы...

— Надо вызвать полицию,— сказал я.

Алиджон меня поддержал, и старший агент позвонил в полицию. Через четверть часа полицейский наряд вывел с пристани всех предпринимателей и их наемников. Пришел пароход. Мы сделали свои дела и только вышли за ворота пристани— как вдруг грохнули выстрелы, над ухом засвистели пули, и я почувствовал, что мне обожгло руку.

— Ложись!— закричал старший агент, бросаясь на землю. Оказывается, когда-то он был военным.

Мы последовали его примеру. Через мгновение из темноты показались фигуры наших врагов. Они думали, что сразили нас наповал. Я вздрогнул, услышав над ухом два выстрела.

Мы не встали с земли, пока не прискакал отряд конной полиции.

На стройке

Алиджон нервничал. Я боялся, что он не усидит взаперти, выскочит на улицу и угодит-таки под пули разъяренных неудачей башибузуков. К счастью, вскоре ему и старшему агенту было приказано первым же пароходом выехать в Узунду.

Узунда встретила Алиджона, как героя. На пристани собралось человек тридцать высокопоставленных чиновников Управления, все в сверкающих серебром и золотом военных мундирах. Они крепко пожимали нам руки, поздравляли с благополучным прибытием, ахали и восторгались, пока кто-то не спохватился, сказав, что «его превосходительство с нетерпением ждут славного героя».

Мы поехали. Как только нас ввели в кабинет, генерал Анненков поднялся из-за стола. Это был очень высокий, крепкий старик, с аккуратно расчесанной надвое пушистой белой бородой, с пронзительным взглядом холодных глаз. Он поздоровался с нами за руку, усадил в мягкие кресла, спросил у старшего агента подробности происшествия. Пока тот рассказывал, генерал с явным удовольствием поглядывал на Алиджона.

— Молодец, Али!— загремел он.— Молодец, хвалю! ты один на-вербовал за какой-то месяц более четырех тысяч. Мои орлы не сделали бы это и за год.

Расспросив Алиджона, откуда он родом и чем занимался, генерал что-то пометил у себя в бумагах, потом оглядел с ног до головы меня и вопросительно посмотрел на старшего агента. Тот ответил, что я— друг и помощник «господина Али». В кабинет вошел молодой офицер. Генерал приказал проводить нас под душ, выдать унтер-офицерскую форму, устроить с жильем и питанием.

Армянин-парикмахер, работавший при Управлении, постриг нас и побрил. После горячей бани мы получили суконные военные рубахи и брюки, серые каракулевые папахи и легкие офицерские ботинки. Ни я, ни Алиджон в жизни еще не носили таких вещей. Выдали нам и по новой шинели.

В Управлении строительства работали одни военные. Штатских здесь совсем не было. Рабочие располагались на отшибе, чакримах в трех. Но ни в одном из двух городков не имелось питьевой воды. Её привозили каждый день пароходом из Сальян. Другой пароход ежедневно доставлял муку и другие продукты питания. Если шторм задерживал их в пути, то шесть-семь тысяч людей оставались без воды и хлеба.

Наутро генерал вновь принял нас. Хлопнув Алиджона по широкой спине, он весело сказал:

— Тебе идет эта форма, Али! Не хватает только погон. Нам недостаточно и пяти тысяч рабочих,— сказал он затем. Необходимо хотя бы еще две тысячи. Здесь их не найти. На вас возлагается задача завербовать это количество, только на этот раз не в Баку, а непосредственно в Астре. Наш «водонос» будет заходить из Сальян к вам, забирать людей. Сам знаю, в Астре столько не найти. Можешь набирать и по ту сторону границы, у персов. Обратись к нашему консулу, он тебе поможет съездить и в Ардебиль.

— Разве Салим не поедет со мной?

— Нет, он нужнее здесь. Ты нашим тоже понравился,— обратился генерал ко мне.— Найдешь среди рабочих мастеров по колодцам, будешь рыть вдоль трассы. Через каждые десять верст. И обкладывать кирпичом, чтобы не засыпало. Не найдешь специалистов здесь — поедешь в Астрабад, в другие города... к черту на кулички, лишь бы колодцы были!

Генерал нервно заходил по кабинету. Видно, его раздражали неурядицы, мешавшие развернуться. Остановившись у окна, он скорее себе, чем нам, сказал:

— Пока не будут колодцы с питьевой водой, строить невозможно. Б тот же день Алиджон уехал.

* * *

Со своими обязанностями я справлялся успешно. Когда колодцы были вырыты вдоль всей трассы до самого Кызыл-арвада, солдаты соорудили железнодорожную колею от залива Михайлова до места, известного под названием Муллокар. Стоял август месяц, самый знойный месяц туркестанского лета, но солдаты настелили двадцать семь чакримов за десять дней. Было это в 1880 году. Теперь наступила очередь завербованных рабочих.

Жить и работать рабочим пришлось в невероятно жестоких условиях. Почти семь тысяч человек не имели ни крыши над головой, ни подстилки под собой. Ели один черствый хлеб, да и то он доставался раз в сутки и часто случалось, что половине не доставался. Не было ни бочек, ни арб, ни достаточного количества ведер, чтобы дать людям вдоволь напиться. Некоторые шли за десять чакримов к другим колодцам, но, пойдя за водой, лишались хлеба.

Более двух тысяч рабочих свалили всевозможные болезни. Изо дня в день росло число умерших. Генерал Анненков хватался за голову, рвал и метал, носился вместе с инженерами вдоль трассы, но все оставалось по-прежнему.

Когда начались основные работы, я находился в Муллокаре. На завтра с поездом приехал туда и Алиджон. Рабочих разбили на бригады. Меня назначили старшим в одной, Алиджона — в другой. Мы теперь

встречались лишь поздним вечером, когда стихал шум работ и рабочие валились спать прямо там, где заставлял их отбой.

— Устали, бедняги, — говорил Алиджон.

— Трудно, — отвечал я.

Вот и все слова, которыми мы могли обменяться: усталость валла с ног и нас.

Были среди наших рабочих двое богатырей-пехлеванов, которым, казалось, все нипочем. Взвалив себе на плечо по многопудовому рельсу, они пробегали двести-триста шагов, сбрасывали его там, где было нужно, и бегом возвращались за новым. В то время, как рабочие вчетвером и даже вшестером, надрываясь, с охами и вздохами, грузили рельсу на тележку, которую потом тянул верблюд, пехлеваны успевали обернуться до пяти раз.

Да, вы угадали: один из них был Алиджоном.

Шла вторая неделя массовых работ, как вдруг на рабочих напала чесотка. Нужно было купать больных и стирать их одежды, но как быть, если не напасешься воды даже на то, чтобы утолить жажду?.. Из Баку вызвали несколько врачей, на берегу залива сколотили деревянную баню, рабочим выдали по куску какого-то специального мыла и в течение недели возили на поезде мыться...

* * *

Чем дальше мы уходили в глубь пустыни, тем хуже становились условия жизни и работы, и в поисках забвения многие пристрастились к азартным играм. Как мухи на мед, слетались к нам любители легкой наживы, доставляя из Кызыл-арвада водку, «чакида» и другие наркотики. Нередко вспыхивали пьяные драки, случались и убийства. По ночам было опасно выходить из юрты.

У меня в бригаде работало тридцать шесть дагестанцев, двенадцать казахов, пятнадцать туркмен, несколько персов, несколько азербайджанцев и курдов, один татарин. Ночью мы поочередно дежурили, охраняя сон и покой своих товарищей.

Так вот мы и жили на стройке целых семь лет, протянув стальные рельсы через жаркие Кара-Кумы к многоводной Аму-Дарье и дальше — на Чарджоу, Бухару, Самарканд... В Бухару мы провели железную дорогу в начале 1888 года, а осенью — и в Самарканд. По словам главного инженера стройки, на нее израсходовали пятьдесят один миллион рублей. А я думаю, что, наверное, добрая часть этих денег осталась в карманах подрядчиков и поставщиков строительных материалов. И еще я думаю о могильных холмиках, что остались вдоль всего нашего пути, от Узунды и Красноводска до Самарканда и Ташкента.

В Самарканде мы перешли из Управления строительством в транспортную контору. Алиджана оставили организовывать грузоперевозки там, а меня послали в Коканд. И вот уже двадцать один год я работаю по этой части, с тем только изменением, что из Коканда перебрался в Наманган...

* * *

... Тридцать три года мы дружим с Алиджоном. Тридцать три года мы живем душа в душу. Когда впервые мы встретились на бакинской пристани, оба были молоды, здоровы и ловки. Жен и детей у нас не было. А теперь есть и жены и дети, и за плечами по пятьдесят с лишним лет, но нет былого здоровья и прежней силы.

За эти тридцать лет немало исхожено дорог. Если вспомнить все, не хватит тысячи и одной ночи. Я понимаю, вам хочется услышать продолжение, но давайте отложим это до другого раза. Я вам еще многое расскажу и, может быть, очень скоро...

Авторизованный перевод с таджикского Льва Кандинова

Лоиқ ШЕРАЛИЕВ

ЗЕРАВШАН

Без твоих ледяных ветров, без твоей голубой воды
Не собрать мне земных плодов, не достичь своей высоты.
Я, как ты, не сдаюсь ни в чем, я иду, ветрами дыша,
Счастлив тем, что в сердце моем плещет — блещет твоя душа!

Я как стебель зеленый рос на твоём крутом берегу,
Сочность трав и сверканье рос я в душе своей берегу.
Оглушая земную тишь, водопады в ущелья льёшь...
Старший брат, — на меня глядишь, — я во всем на тебя похож!

Не устану тебя любить, силу в силе твоей искать,
Ароматную воду пить, неуёмную радость — брать.
Морем света войдя в мой дом, в каждый дом на земле родной,
Ты наполнил литым зерном закрома целины степной.

Словно дети твоей волны, в сердце гор — цветники цветут,
Поднимают ростки — пески, и сады до небес встают.
Рвется буйная зелень ввысь — это в юность свою влюблена,
Поднимается в коммунизм молодая моя страна.

Не хочу я достойным слыть — я хочу Человеком быть,
Чтоб, как ты, граниты пробить, чтоб, как ты, дерзать и творить.
Станут каплей твоею льды, дождь родящие облака, —
Я, как капля твоей воды, сквозь огонь пройду, сквозь века.

Я хочу вперед забежать, на сто лет вперед заглянуть,
Как потомки живут узнать, — что за чувства теснят им грудь,
Много ль сделали я и ты, — что им дал наш с тобой пример?
Люди гордой страны Мечты, открыватели звездных эр!

Перевела Елена Петрова.

Ступеньки к медведю

В Шахмансуре*

Двое

Как странно: вот идёт мальчик в коротких помятых штанах, кургузом пальтишке и серой кепке. На ногах у него — чёрные скороходовские ботинки; один из них просит каши и потому перевязан проволокой. Мальчика зовут Владиком. Но это не я.

Холодно. Нынешняя зима выдалась наредкость снежная и студёная. Таких здесь давно уже не бывало. Мальчик ёжится и сильнее натягивает на голову серую кепчонку. Удивительно знакомое движение: правая рука быстро идёт вверх, поворачивает кепку вокруг головы, чтобы плотнее сидела.

Тихо светит в небе хмурое солнце. Мальчик направляется к цементным ступеням, по которым поднимался не так давно вместе с Геркой и дядей Сережей. Несмотря на то, что с виду он худ и бледен, в походке его чувствуется торжественность, свойственная людям, которые снова научились ходить после болезни.

Я смотрю Владiku в глаза — мои глаза, гляжу на его руки — мои руки, но Владик не замечает меня и равнодушно уходит. Я для него не существую. Я уже не могу смотреть на то, что было, Владикиными глазами, хотя мне известны даже самые заветные думы этого мальчика. Да и сам я почему-то равнодушен к тому, что произошло, и нет во мне желания вернуть потерянное. Так уж вышло, и ничего, видно, с этим не поделаешь. Владик жил, кушал, учился, а я... я не сделал ничего в ту зиму, меня не было. Меня вообще много раз не было, и вот это время — самое долгое и нехорошее.

Голодный год. Весь этот год — серый. Все дни — однообразно-серые, будто я смотрю на них сквозь сетку паранджи. Тусклые вечера — без мамы, без бабушки, без Герки, без дяди Серёжи... На небе нет чёрных туч с лиловыми краями, но нет и солнца; эти бесконечные сумерки всё окрашивают одинаково: дома, кибитки и ребят — воспитанников Шахмансурского детдома. Детдомовцы — сплошная малышня, лишь некоторые ходят в начальную школу.

* Вторая часть повести «Радуга-дуга». Третья часть будет опубликована в следующем году.

— Здравствуй, Кадило,— говорит Владик встречному мальчику. Мой голос. И всё во Владике моё, кроме одного: он делает не то, что хочу я, и думает не так, как думается мне. У него есть два-три друга, а всех остальных он не ставит ни во что. Я верю в людей и знаю, что с ними легче жить, чем одному, а Владик не верит в них и убеждён, что они плохие. Такая резкая перемена в характере Владика произошла не сразу.

Но — как?

— Тебе опять навешали на лоб фонарей, Кадило,— продолжает Владик, и в голосе его чувствуется скорее задумчивость, чем насмешка.

— Майне кляйне швестер...— сокрушается Кадило, ощупывая синяки на голове и безо всякого усилия переходя на чистейший русский язык: — Бедная, она так хотела сливочного масла... и брось пришивать мне кличку — меня зовут Виля.

Кадило — немец по отцу и похож на немца, а мать его родом из горного кишлака Зираки. И его «кляйне швестер» — настоящая горянка: черноволосая, смуглая, маленькая красавица — в мать. «Кляйне швестер» болеет малярией. Она покорна и послушна, как истая дочь Азии, но тёмносерые глаза её смотрят на окружающее задумчиво и говорит она о своей смерти практично и просто — как это, наверное, принято у немцев.

Детдомовцы не любят мальчика по прозвищу Кадило. Он держится особняком: ни вы мне, ни я вам. Но в то же время Кадило уважают за его удивительную заботу о сестренке.

Кадило не хочет, чтобы сестра умерла, и в дополнение к лекарствам, которые прописывают ей врачи, таскает с базара мёд, сливочное масло, яблоки, таджикскую халву, нишалло — пышно взбитую сладкую шену, нечто вроде белого гоголя-моголя из муки и сока мыльного корня. Теперь нишалло почему-то не продают, да и сами мастера, наверное, забыли, как его делать. Ребята называли это кушанье несколько иначе — мешалда. Денег у Кадилы, разумеется, не спрашивай: «покупает» он всё это просто так, за два огляда. Приобретая, он ничего не оставляет взамен, за то и получает от продавцов вдвойне — сладости и синяки. Синяки он оставляет себе, а сладости отдаёт сестре. Во время обеда. Кадило тайком от воспитателя прячет в карман котлеты — для больной «швестер».

На заботе о сестре сосредоточены все думы Кадилы. Он смастерил даже походную печку, чтобы обогревать девочке замерзающие ноги.

Сделал он это так: взял обыкновенную консервную банку, продырявил стенку гвоздем, потом прикрепил к ней проволоку. Получилось нечто вроде церковной кадилыницы. В банку он клал горящие головёшки и, точно дьякон, раскачивал её из стороны в сторону, пока угли не начинали ярко пылать. Потом ставил под одеяло сестре маленькую табуретку, пристраивал внутри банку с горящими углями и терпеливо дежурил возле, наблюдая, как бы «кляйне швестер» ненароком не столкнула шаткое сооружение.

Он просиживал возле постели сестры, не вставая, сутки и больше, но никто ни разу не видел, чтобы он плакал. Некоторые, впрочем, утверждали, что Кадило может плакать, но только ночью и накрывшись с головой одеялом.

Тени в окне

Ярко пылающий зев большой круглой печи. Владик сидит на корточках, наблюдая со смешанным чувством зависти и удивления, как рядом священнодействует над своей пайкой хлеба Кадило. Он не съел ее за ужином и это уже подвиг в глазах Владика. Он раскрошил её на мелкие кусочки, опустил в котелок, залил водой, добавил туда

соли и варит затируху. По-видимому, Кадило убеждён, что это варево вполне заменяет котлеты и мясо, которые он отдаёт сестрёнке. Владик только диву даёт: пайка такая маленькая, а хлеба в посудине много — повар не пожалел воды. В следующий раз надо непременно разжиться котелком и сварить точно такую же затируху.

Уже поздно, воспитатели разошлись кто куда, в квартире директора еле горит прикрученная двадцатилинейная лампа, дошколята по-телячи чмокают во сне губами.

Где-то скрипнула дверь. Кто-то прошёл по коридору. Владика не хочется выходить на холод, да ничего не поделаешь: перед сном надо выглянуть на улицу, не то ночью привидится коварный сон и утром ребята станут дразнить рыбаком.

На дворе — сплошная темень, лишь светится окошечко в детдомовской кладовке. В нём то появляются, то исчезают таинственные тени. Владик подходит поближе и узнает силуэт кладовщика — тубейка, усы, толстый халат — и слышит:

— Может, пиять кило хватит, тувариш Дириёл Симионыч... Клянись аллахом, будто пиять лет жизни я вам отдаём, на искладе рису нет, мяса нет, крупы нет, ничего нет — пускай пропадёт моя бедная голова!

Голос у кладовщика дребезжащий, писклявый и двойной: будто кто-то второй тихо и нудно вторит ему.

— Кому нужна твоя дурная голова? — солидно, басом возражает директор, и тот, кто передразнивал кладовщика, молчит. — Быстренько взвесь десять килограммов и приноси.

Снова те, двое писклявых:

— Дэсьять? Аллах всемогущий, всемилостивый и справедливый, дэсьять кило рису, откуда я возьму дэсьять кило рису, Дириёл Симионыч? Если вы испросите у меня дэсьять лет жизни, да приму я все ваши недуги на себя, я отдаём вам дэсьять лет своей несчастливой жизни, но откуда я возьму дэсьять кило рису?

— Что ты сказал? — В окне появляется тень директорского пальто, заслоняя свет. — Пожалуйста, без фокусов. Разве ты забыл, как я тебя вызволил...

Окно опять стало светлым, потом в его угол уткнулся огромный вислый ус кладовщика.

— Ради аллаха не говорите таких кислых слов, Дириёл Симионыч. Мы найдём где-нибудь дэсьять кило рису и вместе с дэсьять лет своей жизни положим вам в мешок. Эта женщина-повар сказал мне и там был ещё другой воспитатели, что каша вроде супа получается, а суп — пф-фе! — одно недоразумение. Она так и сказал, Дириёл Симионыч, да приму я все ваши грехи и болезни на себя: одно недоразумение. — И тут Владик догадывается, почему у кладовщика двойной голос: на полке стоит много пустой тары и вот какая-то посудина вздумала дразниться и дребезжать в унисон писклявому голосу заведующего складом: — Я каждый день молю аллаха, чтобы не пришла комиссия из наркомпроса, а если она ивсё-таки придёт, пусть она придёт, когда мой исклад провалится сквозь землю.

Кладовщик и пустая тара умолкают.

Через некоторое время свет гаснет и собеседники выходят. Один шагает широко, по-директорски, другой семенит следом, перехватывая мешок из одной руки в другую, пока не догадывается взвалить его на спину.

Шахмансурский детдом стоит на пустыре. Вокруг нет ничего, кроме белого поля. Только с одной стороны виден кишлак. Там лают собаки.

До сих пор я гадаю над непостижимым значением директорского имени — Дириёл. Скорее всего он был обыкновенным Данилом, а кла-

довщик окрестил его на свой, мусульманский лад. Настоящего имени директора я не помню.

На другой день, после уроков, Владик подходит к воспитательнице и говорит:

— Я видел, как директор полмешка рису украл...

— Не болтай ерунду,— сердито отвечает воспитательница.

— А если я ночью сам видел?

Та не возражает, но и не выказывает ни малейшего интереса к услышанному. Она молчит. Порой взрослые умеют молчать весьма глубокомысленно.

Тогда Владик подходит к другой воспитательнице и ещё раз выкладывает все начистоту.

Воспитательница хмурится.

— Если ты будешь и впредь выдумывать всякие небылицы,— отвечает она с достоинством,— я поставлю тебя на два часа в угол.

— Но я же своими глазами видел! — возражает уже не так смело Владик.

— Иди, встань сейчас же в угол! Сегодня я оставляю тебя без ужина!

Владик стоит в углу, упрямо нагнув голову.

— Никогда, дети, не будьте такими, как этот мальчик. Он не уважает старших, грубит своей воспитательнице. А ты встань хорошо и смотри мне в глаза!

Так как во время ужина делать ему нечего — воспитательница сдержала своё обещание,— то он идёт к тому месту длинного коридора, где находится директорская дверь, и стоит возле неё, ожидая. Вот выйдет сейчас директор, и он, Владик, посмотрит на него такими честными глазами, так пронзительно взглянет, что директор стушеется, признается во всем и попросит у ребят прощения.

Время тянется, тянется — как резиновое.

Дверь открывается, когда Владик меньше всего ожидает этого. На пороге стоит директор. Он весело оглядывает мальчика с головы до ног и говорит:

— А ну, марш отсюда!

Растерявшись, Владик забывает сделать пронзительные глаза, забывает все слова, которые собирался сказать.

— Ты — что же? Кому я сказал — марш?!

Директор стоит, твёрдо расставив ноги. Сначала стоят хромовые сапоги, потом брюки, затем защитная гимнастёрка, пухлые щёки и, наконец, сияющая лысина на макушке. Сапоги — блестящие, галифе — синие, щёки — розовые, лысина тоже розовая. А в окнах — пепельно-серый вечер, а в душе у Владика нет ничего и он покорно уходит, стыдливо хлопая оторванной подошвой.

Директор недоумённо поводит плечами и поворачивается, чтобы уйти прочь,— поворачивается пружинисто, весело, уверенно. И весь он, от сапог до лысины — подтянутый, начальственный, сытый и недоступный ребячьему пониманию.

А Владик сидит на своей кровати, и гордые, яростные слова, которыми он собирался поразить директора, опять возвращаются ему на язык.

Чай, пахнущий супом

Два мальчика сыграли некоторую роль в деле, которое затеял против директора Владик. Один из них — Гриша, умевший здорово рассказывать про Илью Муромца.

Лягут, бывало, ребята, укроются, и вот начинаются длинные-предлинные похождения Ильи Муромца или же Добрыни Никитича, а

на дворе ночь, петухи кукарекают и в окно царапается то ли баба-яга, костяная нога, то ли еще кто... Днем про Гришу забывали: с виду он — мальчишк неказистый. Его дразнили Клоуном за разноцветные волосы: у Гриши часть головы была светлая, а другая — темная, потому что его облучили рентгеном. Подобной процедуре подвергались многие ребята, страдавшие паршой. После рентгена они ходили совершенно лысые, а потом шевелюра вырастала ещё гуще и, главное, темнее. Врачи, видимо, не подумали об этом и облучили только половину Гришиной головы.

Вторым мальчиком был Яша Федорович Христофоров, которого подкинули в детдом неизвестные люди. Его спросили, кто таков, сколько лет и откуда пришел. Мальчишка бойко ответил:

— Яша Хведорович Христофоров, двадцать седьмого года рождения.

И как ни допытывались воспитатели, с какой стороны ни подходили, он ничего не мог сказать им, кроме одной на совесть вызубренной фразы, что он Яша Фёдорович Христофоров, двадцать седьмого года рождения.

Ребята, конечно, не могли пройти мимо такого замечательного случая. Мальчика спрашивали:

— Как тебя звать?

И он бойко отвечал без малейшей запинки:

— Яша Хведорович Христофоров, двадцать седьмого года рождения.

— А фамилия?

— Яша Хведорович Христофоров, двадцать седьмого года рождения.

— А отчество?

— Яша Хведорович Христофоров, двадцать седьмого года рождения.

— Ну, а в каком году ты всё-таки родился?

— Яша Хведорович Христофоров, двадцать седьмого года рождения.

Потом начинал спрашивать кто-нибудь другой, и всё повторялось сначала. Наконец вся эта петрушка надоела Яше Федоровичу Христофорову, и он стал несколько разнообразить свои ответы.

— Как тебя зовут?

— Вытчипысь.

— А фамилия?

— Вытчипысь.

— А отчество?

— Вытчипысь.

— Сколько тебе лет?

— Вытчипысь, не то ка-ак съезжу по носу!

За это его так и прозвали — Вытчипысь.

Однажды Владик отозвал Яшу Фёдоровича в сторону и сказал:

— Слушай, Вытчипысь, ты мне друг?

— Друг, — ответил мальчик.

— Хочешь, обтяпаем с тобой одно дело?

— А что?

— Давай надаем как следует директорским сынкам за то, что они ворованный рис едят.

Яша Федорович был большой охотник подраться и не стал вникать в подробности, каким образом сыновья директора умудряются воровать детдомовский рис.

Встреча произошла в одном из узких шахмансурских переулков.

— Эй ты, гриб жирный!

— Замри, щекастый!

Директорские сынки были одеты одинаково: в сапожках, как и их румяный папаша, в курточках и теплых, под каракуль, шапочках. Один — побольше, ростом с Владика, другой — поменьше, ростом с Яшу Федоровича Христофорова. Владик взял того, что побольше, а Яша Федорович того, что поменьше. Они надавали обоим щекастым тычков и спихнули их в грязный снег: к вечеру сильно подтаяло.

— Будете лопать чужую рисовую кашу?

— Не буде-е-е-ем...

— Будете зариться на чужие пайки?

— Не буде-е-ем... и не ели мы никаких паек...

— Ваш отец — ворюга!

— И ничего он не ворюга...

— Не ворюга? А вот я тебе зараз...

— Ворюга, ворюга, ворюга, — захныкали в один голос сыновья директора, напуганные решительным видом Яши Федоровича Христофорова.

А к вечеру, когда о происшествии узнали воспитатели, оказалось, что поведение Яши Федоровича Христофорова и Владика называется хулиганским и что за это они должны быть оставлены без сладкого чая на неделю. С виду их чай ничем не отличался от того, который пили ребята, если не считать, что он был несладкий, отдавал супом и припахивал засаленной кухонной тряпкой.

Буханка хлеба

Утро. Белая дорога идет в школу в виде одинокой цепочки, оставленной женскими ботинками между длинным дувалом и замерзшим арыком. Лед на арыке серый и белый, дувал серый и желтый. Небо хмурое. Будто настоящая российская зима присыпала озябшую землю и плоские крыши кибиток хрустким белым холодом. У тутовника — все ветки из снега и льда, дерево кажется легким, как пух, и улетело бы, если бы не примерзло черной ногою к белому холмику.

Зажав книги под мышкой, Владик кушает на ходу утреннюю лепёшку — на завтрак повариха всегда жарила такие вот хрустящие лепёшки, — а снег тоже похрустывает под ногами, только не так вкусно, как лепёшка. Мальчик в кургузом пиджаке спешит в школу, хлопая оторванной подошвой. Он даже не замечает, что проволока давно потерялась по дороге и ботинок полон снега.

Пока ученики открывают тетради с домашними заданиями, он спохватывается, почувствовав, что с ногой что-то не в порядке. Раззевается под партой и вытряхивает из ботинка снег. Неумело завернутая и плохо просушенная портянка примерзла к пальцам и к пятке.

После школы Владик дежурит по кухне — режет хлеб. С привычки на руках вздулись мозоли, но это ничего: дело добровольное.

Владик смотрит на буханку, прикидывая: сначала её надо разрезать на восемь одинаковых частей, затем каждую часть ещё на четыре куса: два с верхней корочкой и два с нижней — из буханки должно получиться тридцать две порции. Если же некоторые куски выйдут очень уж маленькие, одну пайку повариха разрешает использовать на довески. После всех этих трудов останутся крошки — законная добыча дежурного по кухне...

А вот в следующий раз я вижу Владика уже весной: тёплый весенний день сереет без солнца, по обочинам улицы цветут одуванчики, а Владик идет с хлебозавода, что на Путовской улице, и несет в детдом буханку хлеба. Воспитательница отстала, детдомовцы растянулись чуть ли не на полкилометра и некоторые уже начинают потихоньку терзать свою ношу.

Недалеко от Владика плюхает косолапый Козлов. Он пузатый, ему ничего не стоит съесть сразу все тридцать две порции. Козел давно уже расковырял свою буханку, и она у него имеет самый жалкий вид. Тайком он жует и воровато глотает. Оглянется по сторонам — и отломит кусок мякиша. Оглянется еще раз — положит в рот. Оглянется в третий — проглотит. Сразу видно, что он мастер своего дела.

Владика тоже хочется попробовать хрустящей корочки. Однако что-то сдерживает его — мама и бабушка учили никогда не врать и не воровать.

«Я много не возьму, — успокаивает себя Владик, — отщипну только самую крохотную крошку, ведь повариха не обращает внимания на такие мелочи. Вот хотя бы этот кусочек: он всё равно торчит в сторону и словно бы лишний».

Владик спотыкается и даже не замечает, что споткнулся; порой он совсем сходит с тротуара, идёт по арыкам, мимо больших ям — идёт как бог на душу положит, потому что ничего не видит перед собой.

Ему кажется, будто прохожие подозрительно поглядывают на него: догадались.

Вот и одинокое здание детдома уже виднеется вдаль, а ноги между тем сами идут к месту, вот уже видна воспитательница на крыльце, встречающая ребят с хлебом, — ещё немного и будет поздно.

Ну и леший с ней, с буханкой! Как бы там ни было, Владик не тронул хлеб и принёс его целёхоньким.

Глаза у Владика сияют, когда он протягивает свою ношу поварихе. Однако подслеповатая женщина принимает ношу Владика с тем же каменным равнодушием, что и все остальные, даже явно ощипанные. Ей всё равно. Сегодня она, видимо, не в духе.

За ужином кое-кому попали кудые пайки, почти без мякиша — его съел толстопузый Козел. Свою порцию он быстренько умял и теперь ухмыляется и рыгает, довольный. Владика очень хочется стукнуть его по жирной утробе. Что он и делает со всем усердием, на какое способен.

— Кто? — спрашивает воспитательница.

В окне изо всех своих маленьких сил бьется бабочка.

— Он! — Козел указывает на виновника пальцем и равнодушно усаживается на прежнее место. Его живот привлекает многих и такие штуки с ним проделывают довольно часто.

— Ты ударил Козлова, Владик?

— Ну, я...

— Зачем ты это сделал? Ведь я же предупреждала, чтобы никто не смел шлепать Козлова по животу.

Владик молчит. Козла с поличным не поймали, не пойманный — не вор, а ябедничать не стоит.

— Молчишь? Тебе, я вижу, всё тут не нравится: Козлов, воспитатели, директор. Завтра останешься без обеда. А пока иди встань в угол.

Теперь Владик окончательно убеждается, что надо составить акт. Только акт и может что-нибудь спасти. Мама всегда писала акт, если в Муминабаде кто-нибудь умирал. Но акт пишется не только для покойников. Акт — это такое дело, без которого не обойдешься во всех сомнительных случаях. Акт, безусловно, имеет огромную силу, надо

только суметь его написать. Сначала надо писать само слово «акт», потом число, потом присутствующих. А затем уже — суть дела. Если его правильно составить и собрать несколько подписей, то каши ребятам будет давать вдвое больше.

Заговор

Владик, Гриша-сказочник, по прозвищу Клоун, и Яша Федорович Христофоров сидят у арыка в укромном месте и шепчутся. Рядом находится кустарная маслобойня: в тёмном сарае стоит пень, полый внутри, в пень воткнуто короткое бревно, соединенное приводом с лошадьёю. Полуослепшая кляча без конца ходит по кругу, таджик в грязных штанах, похожих на кальсоны, без конца понукает её, бревно скрипит, вихляется в колоде и давит зигир — льняные семена.

Яша Федорович Христофоров парнишка беззаботный — ему всё трын-трава.

Клоун побаивается. Владик смотрит на него, и ему кажется, что голова у Клоуна, должно быть, думает все время по-разному: светлая сторона — так, а темная — совсем иначе.

— Я сам видел, как директор утащил домой мешок рису, — говорит Владик. — Мы должны составить акт, а потом покажем его комиссии из наркомпроса.

— Его подписывать, что ли, надо?

— Ну да.

— Так я же не умею.

— Палец приложишь. А я в скобках напишу, что ты неграмотный.

— Ладно, — соглашается Яша Федорович Христофоров.

Клоун тянет резину, мямлит что-то такое про директора, который может узнать, наказать, выгнать из детдома.

Скрипит в маслобойке бревно, всхлипывает зигирова масса, сладко чмокают копыта в мягком настиле.

— Эх ты, трус несчастный, — говорит Яша Федорович Христофоров Клоуну, — на попятный пошёл.

Владику надоело уговаривать. Противно, что Гриша-сказочник, которого он уважал, струсил и отказался подписать.

— Я знаю другую маслобойню и там можно достать подсолнечный жмых, — обращается к Владику Яша Федорович. — Он такой вкусный! Как халва.

Клоун с готовностью поднимается. Он рад идти куда угодно, лишь бы не подписывать опасной бумаги.

У маслобойки

Она была совсем маленькая, эта другая маслобойня, и никем не охранялась, так что Владик совершенно свободно прошел во двор и остановился в пяти шагах от пресса, возле которого суетились трое рабочих. Владик был один — мальчики договорились заходить по очереди.

Вот рабочие насыпают в длинную цилиндрическую форму подсолнечные зерна вместе с шелухой — семечки плохо очищены. Затем один из них нажимает на рычаг, пресс всхлипывает и выдавливает из цилиндра масло, которое стекает по жестяному желобу в ведро. Горячие, вкусно пахнущие круги жмыха падают прямо на пол.

Владик ждёт, что его в конце концов все-таки заметят, — должны же они когда-нибудь заметить! — и дадут кусок маслянистого жмыха. А люди как нарочно не хотят увидеть Владика: ему кажется, будто они делают это умышленно, и он готовится попросить сам.

Сразу Владик не может этого сделать. Двадцать раз слова были на самом кончике языка, оставалось только произнести их вслух, и все двадцать раз его останавливает странная сила, та самая, что не давала отщипнуть от буханки. Целая вечность прошла, а он всё ещё отирается возле пресса.

Вот сейчас он спросит, и ничего от этого не случится: дяди возле пресса добрые, это сразу видно по их лицам: один русский и два таджика в чёрных от масла тубетейках. И он говорит что-то, очень постыдное и жалкое, однако звука нет, в горле от волнения пересохло, звука нет, а во рту так быстро собираются слюни, что их не хочется глотать, будто они чужие.

И Владику становится ясно: попросить он всё равно не сможет. Наконец один из рабочих всё-таки замечает его:

— Интересная машина, да, мальчик?

— Интересная.

— Хочешь поступить к нам учеником?

— Хочу.

— На-ка вот тебе гайку. И болт тоже возьми. Знаешь, в какую сторону резьба идёт?

— Не знаю, дядя.

— Эх, как же это ты? Резьба всегда слева направо нарезается, за исключением тех случаев,— рабочий произнёс последнее слово, сильно налегая на звук «ча» и выговаривая его как-то особенно сладко,— за исключением того, значит, если деталь вращается в эту же сторону. Ну-ну, ступай себе с богом, а то ещё зашибёт тебя чем-нибудь.

Владик уходит, щупая в кармане гайку и болт. Их надо выбросить где-нибудь подальше, чтобы не обиделись рабочие.

Возмездие

Клоун все-таки наябедничал начальству, и Владику грозит беда. Хуже всего то, что актом уже успел завладеть директор.

Владик стоит перед строем. Дети смотрят на него, как на чудо, а директор, полный благородного негодования, читает акт. Примерный мальчик Гриша скромненько стоит в строю и смотрит в пол.

— Этот мальчик,— директор тычет пальцем в сторону Владика,— обвиняет меня в том, будто я прикарманиваю ваши пайки хлеба. Скажите, дети, у кого хоть раз я отобрал его порцию? У кого хоть раз взял из тарелки ложку каши? Разве я делал это хоть однажды?

— Нет! Не делали! — отвечают дошколята хором.

— Вот видите, как получается: я стараюсь для вас, бывает, ночами не сплю, чтобы добыть лишние продукты, и что же я получаю вместо благодарности? Но я уверен, что в этом строю стоит много честных и справедливых мальчиков и девочек, они не допустят, чтобы их директора обижали ни за что ни про что. Допустите вы это или нет, дети?

— Не допустим! — кричат дошколята, и Владику начинает казаться, что всё это происходит не на самом деле.

— Что сделать с этим маленьким негодяем? Оставить так, пусть он и впредь клеветает на вашего директора?

Гвалт, писк, злые выкрики.

Значит, правды нет на земле.

— Два дня будешь без обеда.— Голос строгий и отчужденный.

А, всё равно. Без обеда, так без обеда. Не в первый раз и, видно, не в последний.

Потом его ведут в комнату директора — на дополнительную «проработку».

Ковры. Много ковров — до ряби в глазах. Большие рога архара на стене. Есть и другие вещи в комнате, да смотреть не хочется. Возле ножки стола лежат две рисинки. Наверное просыпали в ту ночь.

Кто-то что-то говорит, убеждает, горячится, называет Владика оскорбительными словами. Владик не понимает ни слова, но ему начинает казаться, что он действительно был неправ.

— Извинись перед директором!

Он глотает ком вязкой слюны.

— Извинись сейчас же!

Он готов извиниться; всё в мире так круто перевернулось, что он готов извиниться и не делает этого потому, что не может произнести ни слова.

Вдруг дверь открывается. Это Яша Фёдорович Христофоров.

— Яша, сейчас же выйди отсюда!

— Я...

— Кому было сказано? Сейчас же выйди, недисциплинированный мальчишка!

— Я,— говорит Яша Фёдорович Христофоров,— я тоже подписал этот... ну, как его... вот. Палец обмакнул в чернила и подписал. Приложил, то есть. Вы не смотрите, что я неграмотный, я палец обмакнул в чернила и приложил к бумаге.

И он показал измазанный чернилами палец. Губы у него белые-белые.

Когда «проработка» закончилась, в укромном месте, у арыка, Яша Фёдорович Христофоров сказал:

— Держи, Владька, жмых — мне вот какую кусину дали.

И щедрой рукой отломил половину.

Я

И вдруг цепочка серых дней обрывается. Когда в детдом пришла комиссия из наркомпроса, небо стало голубым. Хорошо одетые дяди и тети ходили по общежитию, смотрели, как едят дети, долго о чем-то совещались на кухне.

Директора с работы выгнали и отдали под суд. Его семья забрала свои шмотки и уехала на двух телегах. Ребята говорили, что у директора милиция отобрала все ковры и ценные вещи и оставила только табуретки, стол, кровати, постели и рога на стене. Так и надо! Не воруй.

Наиболее слабых детдомовцев отправили в пионерские лагеря. А потом — одна радость за другой — Владика решили усыновить двое одиноких, уже на возрасте, людей.

Мальши, которые ещё недавно готовы были улюлюкать при виде Владика, теперь сделали его героем. Они откровенно ему завидовали, полагая, что это хорошо. Да только зря старались: ведь счастье можно слезать.

Отчим и мачеха жили на Ленинской, за магазином «Люкс». Они заставляли Владика называть их папой и мамой, но эти простые слова произносить было почему-то необычайно трудно. Бывало, Владик долго мучается и пересиливает себя, прежде чем выдавит их из горла. Чувствовали взрослые его ложь или нет?

Они, конечно, добрые, никто и не отнимает у них эту доброту. Приемный изо всех сил старается полюбить отчима и мачеху, но разве ж он виноват, если у него ничего не выходит? Только теперь Владик понял, как трудно полюбить человека, если даже сам хочешь этого...

Владик честно ждал того дня или минуты, когда произойдёт что-то важное, и простое слово «мама» скажется легко и свободно. Да только минута эта всё не приходила и не приходила.

Заметив, что пасынок даже после вкусного обеда не бывает весёлым, отчим с мачехой спрашивали:

— Ты болен?

— Нет.

— Может, сладкого хочешь? Вот, возьми деньги, купи ирисок.

Как им объяснить, что не ирисок ему хочется, а чего-то другого, которое бывает, если солнце всходит, а ты смотришь, как оно выкатывается из-за гор, плескаясь в золоте,— и тогда кажется, что жива настоящая мама и что она улыбается.

Однажды Владик встретил на улице «майне кляйне швестер». Увидев Владика, девочка заплакала прежде, чем успела сказать «здравствуй». Она вытирала слезы промокашкой и без конца роняла учебники на тротуар. Почему у девочек так много в глазах воды? И вот— здравствуйте, я ваша тетя!— у Владика тоже стало шекотать в носу.

— Знаешь, Владик, Виля говорит, что ты честный друг.

— Кто это — Виля?

— Виля, братишка мой. Ты же его знаешь. Он сейчас болеет. Доктору говорит, что здоров, а сам очень, очень болеет. Он хотел достать мне на базаре мёду, а его побили торгоши. Я уже давно выздоровела, а он всё болеет и болеет. Он даже не узнаёт меня по вечерам и говорит всякое. Каждый день, когда начинает темнеть, он говорит всякую всячину.

Владик смотрит на девочку, пытаюсь вспомнить её имя. «Майне кляйне швестер» — это не то. Ведь зовут же её как-то.

— Виля очень любит сахар. Если он покушает сразу много сахара, то обязательно выздоровеет. Ты, Владик, помоги достать для Вили сахару. У нас только ты один и есть честный друг. Вот и Виля всё время так говорит. Достань, Владик, для брата сахару... Я уж столько раз на базар ходила, но я совсем не умею, как Виля...

Владику почему-то вспомнился Герка и то, как он просил кушать, потом пить, а под тутовником ни того, ни другого не было и ему, Владику, очень хотелось напоить и накормить Герку, он чувствовал себя в ответе за то, что брат хочет пить. Теперь нет уже ни Герки, ни мамы и у него просит сахару совсем чужая девочка, но он знает, что должен помочь ей, иначе какой же он «честный друг»? Почувствовав себя в роли опекуна, Владик стал смелее и спросил напрямик:

— Знаешь, я забыл, как тебя зовут.

— Рита. Какой ты забывчивый!

— Я-то не забывчивый, просто твой Виля никогда не называл тебя Ритой, а всё «кляйне швестер» да «кляйне швестер»... Ты умеешь по-немецки?

— Ни вот столечко.

— А по-таджикски?

— Совсем немного. Я ведь в русскую школу ходила.

— А я умею.

— По-немецки?

— Нет, по-таджикски. Я в таджикском классе учился.

Рита посмотрела на Владика с любопытством, но ничего не ответила.

История, в которую влип Кадило, оказалась проще некуда: его давно уже заприметили на базаре, подкараулили, словили и... в общем, какой-то чересчур старательный дядька двинул беднягу сапогом в живот. На дядьку окрысились сами же торговцы, даже устроили скандал или что-то вроде драки, но Кадиле от этого не стало легче.

Его избили, конечно, за дело, но неужели две ложки меду, которые он зачерпнул маленькой жестяной кружкой — такой посудиною торгаша отмеряют обычно черный перец, из нее даже чай пить нельзя, такая она маленькая, — разве две ложки меду стоят того, чтобы вот так насмерть бить человека?

Ну, а за что его, Владика, расчеховстил в пух и прах ворюга-директор? За что воспитатели — вот уж подлипалы, вот уж придурки директорские! — ставили в угол и оставляли без обеда? Значит, не всегда и не всем можно доказывать свою правоту. Порой это так же трудно, как выловить пшено в мутном брандахлысте, который доставался обычно тому, кто опаздывал на ужин.

Рита тихо всхлипывала возле постели брата, с надеждой поглядывая на Владика, будто он был доктор. Когда-то с такой же вот светлой верой бабушка молилась на иконы...

Новые родители не отказали Владиду в просьбе, однако тут же оговорились, что это в первый и последний раз, что теперь не такое время, чтобы заниматься благотворительностью, что снабдить сахаром всех детдомовцев они просто не в состоянии, что Владик теперь должен привыкать к одному дому, в котором он со временем станет хозяином, да и кто такой этот Кадило — воришка, поделом наказанный за кражу.

Владик думал иначе. Что, жалко им разве для больного Вили одного яблока или кисточки винограду? Чего они жмотничают, жадобы несчастные? Мама, та обязательно помогла бы Виле, но то ведь была настоящая мама...

Обедал Владик всегда один, родители в это время были на работе, так что кисточку винограда или яблоко, которые оставляла ему мачеха, всегда можно было утаить. Но всё-таки Владик был мальчик, а его родители — взрослые люди. Чтобы вынести виноград незаметно, приходилось класть его в карман, в котором при стирке обнаруживались косточки и зелёные стебельки от виноградной кисти. В поллитровой банке, где всегда хранился сахар, стали оставаться то зёрнышко пшена, то горошина, то несколько рисинок.

«Тоже мне папа с мамой! — думал Владик. — Толкуете — хозяином будешь, а пшено в сахар кладете, чтоб не взял да не отнес Кадиле».

Но взрослые всё же перехитрили.

Однажды Владик читал книжку и между двух страниц, на одной из которых был нарисован красноармеец, скачущий на коне со знаменем в руках, обнаружил пять рублей. Пятёрка была старая, но отглаженная и ровная — видно, долго лежала в книге. Владиду и в голову не пришло, что она положена туда с умыслом. Он сам купил на эти деньги таджикской — красной с белым — халвы и понёс свои дары Кадиле.

А вечером:

— Владик, ты прочёл книгу?

— Прочёл, мама. Интересная очень.

— Быстро ты её прочитал. Уж не пропускал ли ты страницы?

— Зачем же я их буду пропускать, если книжка интересная?

— А картинки тебе понравились? Помнишь, там есть ещё картинка, где красноармеец держит в руке знамя и скачет во весь мах в атаку?

— Помню, — отвечает Владик и думает: «Ихняя пятёрка. Сами туда и положили для зацепки».

Проходит день, два, и снова:

— Батюшки, куда это запропастились пять рублей? Владик, ты нигде не видел пять рублей?

Владик молчит. Что он может сказать, если пятёрки давно уже тю-тю?..

— Может, ты видел всё-таки, отвечай.

— Видел.

— Где же они?

— Пятёрка, что ли? Я на неё халвы для Вили купил.

— Боже, опять этот Виля, этот твой отвратительный Кадило, он вечно подбивает тебя на нечестные поступки, а ты всё якшаешься с этим воришкой! Больше не смей к нему ходить! Не смей без спросу брать деньги в доме, не смей, не смей!

С тех пор каждый день, на полочке в коридоре, совершенно открыто, стала оставаться пачка трёхрублевок. От скуки Владик пересчитывал их и всякий раз останавливался на цифре 97. Девяносто семь бумажек. Двести девяносто один рубль. Зачем они здесь? Их место — в тумбочке, там всегда лежат деньги, и выдвижной ящик закрывается маленьким замочком. Нет никакого смысла класть ценности на виду, да ещё в коридоре, где их может взять первый же нищий.

Хорошо понимая, что в случае несчастья все шишки повалятся на него, Владик прячет пачку, лишь в самый последний момент, перед приходом родителей, водворяя деньги на прежнее место. Новенькие трешницы раздражают Владика. Ему кажется, что это сделано нарочно. Попробуй, возьми, говорят эти трешницы, и тебя выгонят отсюда, как собачонку. Ты можешь вытащить одну бумажку, но и тогда тебе не миновать нахлобучки. Вот сахар, рядом с деньгами. Ты можешь кушать его только за столом, на глазах у взрослых, но не имеешь права давать Рите, ее брату или Яше Фёдоровичу Христофорову.

Владик уже ненавидит и этот сахар, и эту пачку денег, и готов на отчаянный поступок. Вот он решается, берёт все до единой трешницы, и злые слёзы капают на причудливые завитушки, что нарисованы на деньгах. Он расшвыривает их по комнате, топчет ногами, потом выходит из коридора вон, запирает дверь ключом и кладет его на условленное место.

Он кладет блестящий, сложного рисунка ключ под низкий карниз, на условленное место, между тростинок прелого камыша; в последний момент ключ ярко сверкнул железным голубым блеском, резанул по глазам и Владик зажмурился. Произошло необычайное: когда Владик зажмурился, а потом открыл глаза, когда слепящий блеск металла проник в него, Владика, и вроде бы стал светиться внутри, — в этот момент я тоже вдруг начинаю ощущать этот необычайный свет внутри себя — холодный и яркий свет, и это уже не Владик всовывает фигурный ключ внутрь темного от дождя камыша, это я, я, кладу его туда, потому что Владик и я — одно и то же, мы вновь обрели друг друга.

Я...

Злой, радостный и свободный, я покидаю новых родителей навсегда. Ничего: как-нибудь проживем друг без друга. Они без меня не умрут, а мне и подавно не хочется.

Два раза они приходят за мной в детдом и оба раза я искусно прячусь от них. Голодный сиротский хлеб оказался вкуснее. Я буду голодать и, может, умру тут, в детдоме, но не вернусь назад: нет у меня папы и нет мамы.

Не скажу, по какой дорожке повела бы меня судьба, если бы я остался у них и привык звать самыми дорогими для меня словами. Просто не могу себе этого представить, потому что знаю только одну мать, и ей одной — моя вечная любовь и признательность.

Трудновоспитуемый

Несколько дней спустя детдомовцы обокрали табачный ларек. Они не взламывали дверей, не подбирали ключей, а гуртом перевернули лавку, добросовестно вычистили её содержимое и так же добросовестно разделили.

Я в этом деле не участвовал.

Но меня всё равно вызывали воспитатели и как-то очень уж утвердительно спрашивали, что это сделал я и никто другой. Им, конечно, нужно было найти зачинщиков, а мне до чёртиков надоело унижаться, отнекиваться; как и там, у отчима и мачехи, явилось желание сделать все наоборот. Я сказал:

— Да, это сделал я.

Мои мучители облегчённо вздохнули:

— Кто с тобой был?

— Никто.

— Ты не хочешь сказать правду?

— Не хочу. Отстаньте от меня.

— Как ты разговариваешь со старшими, грубиян!

— Никак.

— Куда ты девал папиросы и деньги?

— Не скажу.

— Мы отправим тебя в милицию.

— Отправляйте.

— Почему ты убежал от родителей?

— Никакие они мне не родители. Моя мама умерла.

— Неблагодарный мальчишка! Хам! Положди, ты у нас ещё плачешь!

— Не страшайте, я уже пуганый. Вы сами воруете наш хлеб, а мне нельзя, нельзя, да?

Молчание. Оно длится слишком долго. Взрослые прекрасно знают, за что пухлощёкий директор снят с должности и посажен в каталажку, и чувствуют себя немного виноватыми. Они с неудовольствием меня разглядывают, избегая в то же время смелого взгляда моих глаз.

Детдомовцев построили. Тех, кто не нравится воспитателю, заставляют выйти вперед. Я тоже ему не нравлюсь и—«...три шага вперед, марш!»— делаю целых пять. Пусть поспихует на здоровье. Потом отобранных переписывают, выдают по двойной пайке хлеба и отправляют пешкодралом на новое место — в детскую трудовую колонию для трудновоспитуемых детей.

На этот раз мнение воспитателей я принял на веру и первое время даже пытался его оправдать. Вопреки всем наставлениям я тотчас же съел весь хлеб. Когда раздавалась команда «не пылить», я старался загрести ботинками как можно больше пыли. Теперь мне можно выходить самовольно из строя, залезать на бахчу и пропускать слова воспитателей мимо ушей. Ведь я — трудновоспитуемый, а это ко многому обязывает.

Разноцветье

Бамц — Бумц

Нет на свете более пустячного занятия, чем поиски правды. Правда — это такая штука, которую можно повернуть то орлом, то решкой: вся суть в том, у кого в руках она находится. Доверять людям нельзя, все они в конце концов интересуются только собой, а на других им наплевать. Если ты голоден, не надейся на доброго дядю, добывая пропитание сам. Друзей найти трудно, поэтому ими надо дорожить.

С такими примерно взглядами на окружающее я пришёл на новое место — в степь, среди которой уныло торчало несколько бараков. Это и называлось детской трудовой колонией. Находилась она километрах в двадцати от Сталинабада, возле зональной станции, где разводили скот, птицу, колдовали что-то такое с кукурузой, арбузами и хлопком.

Вблизи протекала речка, вдалеке виднелись горы и ночью по ним зигзагами шли полосы огня: это колхозники жгли траву.

В общем, вид был такой: вокруг, куда ни глянь, раскинулись колхозные поля, среди полей — вытоптанная лысина без единого деревца, в посреди лысины — одноэтажные здания. Здесь нам предстояло жить, учиться и работать по хозяйству.

Мы стоим в строю, а директор колонии расхаживает перед нами, как молодой задорный петушок. Он лихо подкручивает к небу усы и старается смотреть на нас зверскими глазами.

— Носить ножи, стрелять из зажигалок и лазить по бахам категорически воспрещается, — говорит директор. — Красть друг у друга постельные принадлежности, обувь и пайки хлеба категорически воспрещено! Отлынивать от работы — позор! Отлучаться из колонии без спросу — равносильно преступлению.

Директорские слова я понимаю приблизительно так: нужно завтра же завести нож, зажигалку и наведаться на бахчи. Что касается личных вещей, таких, как одеяло, матрац, ботинки, пайка хлеба — то тут, видимо, рот разевать нельзя: из-под носа уведут и не сыщешь.

Начальник на этот раз попался нам ещё оригинальнее, чем в Шахмансуре. Пока он ходит перед строем и свирепо топорщит усы, ребятам становятся известны его деловые качества и кое-какие черты характера.

Он очень раздражителен и, чтоб быстрее вразумить провинившегося, частенько пускает в ход кулаки. По-видимому, у него не хватает терпения доказывать нужную ему мысль с помощью слов, и он прибегает к более решительным методам воздействия на неразумные головы колонистов.

Директор имеет много прозвищ, он весь в прозвищах, как в репьях. Зовут его Александром Александровичем, однако имя это претерпело весьма существенную эволюцию и в настоящее время приобрело более упрощённый вид: Сан Саныч. Сан Саныч является владельцем следующих прозвищ: Мось-Мось (употребляется редко и неизвестно почему); Дринь-Дринь (Сан Саныч высок ростом); Филоктет Филоктетович (обыденное, безобидное, просто из привычки давать прозвища); Бамц-Бумц (за драчливость); Кузьма (фамилия директора была Кузьмин); Котофей Тимофеевич (не походи на кота); Тимофей Котофеевич (просто так, ради забавы); и, наконец, — Иди-в-клозет.

В справедливости последней клички мы имели возможность убедиться тотчас же. В конце своего напутствия Сан Саныч обратил наше внимание на чистоту близлежащей территории, а также выразил уверенность, что мы твёрдо запомним местоположение клозета и к утру девственность прилегающего к колонии участка останется в том же первоначальном виде, что и сегодня.

Того, кто не успевает донести соответствующий груз до места, Сан Саныч уощает подзашлычиной и говорит: «Иди в клозет!» Сие означает, что полы в нужнике должны быть выдраены до блеска.

Кроме всех этих качеств директор имеет также жену. Она воспитательница, обращаться к ней надо по имени-отчеству: Фелиция Николаевна. Ни в коем случае нельзя забывать про букву «Ф», потому что в обиходе директорская супруга давно уже превратилась в Милицию Николаевну.

С неё всё и началось.

Не желая уронить себя в глазах других трудновоспитуемых, я назвал её Милицией Николаевной, а Бамц-Бумц это услышал и его сивые, к небу, усы шевельнулись по-тараканьему.

На другой день приехал два инспектора из Наркомата просвещения. Одна оказалась той самой воспитательницей, по милости которой я часто оставался в Шахмансурском детдоме без обеда; второй — сердич-

тый верзила, чем-то неуловимо похожий на конюха. Они заглядывали в самые темные закоулки с таким достоинством, словно от этого зависело благополучие всего мира.

Я как раз собирался на ужин, когда они вместе с Бамц-Бумцем подошли ко мне.

— Как тебя зовут, мальчик?

— Пантелей.

— Ты куда-нибудь спешишь?

— Хавать.

— Что это такое — хавать?

— Рубать.

— И давно ты говоришь на этом жаргоне?

— Да с того дня, как рису объелся.

Инспектора многозначительно переглядываются.

— Как вас кормят? Тебе хватает?

В колонии я успел покушать всего четыре раза и все четыре не наелся, но, умудренный горьким опытом в Шахмансуре, ответил:

— Трамбую от пуза.

— Не обижают тебя? Не бьют?

Это был явный намёк на Бамц-Бумца. Колонистам было известно, что слухи о резвых кулаках директора дошли даже до наркомата, но говорить об этом было нельзя. За такую «продажу» полагался променаж. Он устраивался втайне не только от воспитателей, но и от некоторых надежных ребят.

Заключался променаж в следующем.

На виновника надевали рубаху, связав сзади рукава, сузив подол множеством узелков, и в таком упакованном виде бросали в Кафирниган в том месте, где глубина всего по колено, но зато особенно сильное течение и много скользких камней. Результат получался ещё более эффективный, чем при «тёмной»: несчастный выбирался из речки весь в синяках, мокрый и еле живой. Если рёбра оставались целы и не было вывихнутых пальцев, считалось, что наказуемому повезло.

Среди колонистов уже давно сложилось мнение, что Бамц-Бумц, в сущности, человек не плохой. Хотя он был скор насчет затрещин, зато не воровал из ребячьего котла. Во всяком случае пока за ним этого не замечалось. Именно поэтому и нельзя было продавать Бамц-Бумца. И я ответил, что нет, не бьют.

— Но, может быть, тебе здесь что-нибудь не нравится? — наседали назойливые инспектора, и по их виду заметно было, с каким величайшим удовольствием они услышали бы от меня «правду-матку» насчет порядков в колонии.

Желая сделать им приятное, я ответил:

— Не нравится.

Инспектор, смахивающий на конюха, так и подался вперед. Мне показалось, что от радости у него даже нос удлинился.

— Так что же тебе не нравится, Пантелей?

— Усы.

— Какие усы?

— Директорские.

Я не смог бы объяснить, как пришёл мне на ум этот бессмысленный ответ. Пока он был в голове, то казался безобидной шуткой; но как только он превратился в слова, мне сразу же стало ясно, что разговор наш кончится чем-нибудь похожим на клозет. Сивые, напоминающие паклю усы Бамц-Бумца шевельнулись туда-сюда и нацелились в мою сторону.

Инспектора стусевались. Бамц-Бумц сказал:

— В клозет.

И добавил:

— Чтоб до блеска! Бегом! Через полчаса проверю.

После этого разговора мне стало казаться, что из меня может получиться настоящий трудновоспитуемый.

Милиция Николаевна

Я стою среди зеленых куч — они образовались из тонких стеблей степного гороха, который таджики называют «мош», а мы, ребята, машей. Дехкане никогда не собирают «машу» стручками — такие они мелкие, но вырывают горох с корнем, оббивают палками и потом отсеивают на ветру.

Небо вверху не имеет цвета, и только тучи на самом его краю — багровые. Мне хочется отведать вкусной машы, но едва я прикасаюсь к одному стручку, как он тут же лопается и маленькие горошины вылетают прочь. Одна из них стучает меня по лбу.

Долина здесь широкая, на дальних полях лежит сизая дымка, разорванная вершинами гор. Собственно, это не долина, а степь.

Жара. Если сырое яйцо положить в пыль, оно испечётся.

На обратном пути мне встретилась Милиция Николаевна. Я боялся смотреть на нее долго — еще заметит. Волосы у неё были цвета спелого граната, когда кожа уже потемнела, но еще проступает кое-где желтизна. Взгляд тёмных глаз — бархатный. На ней было сиреневое платье и жакетик — нечто вроде гуцулки.

Я знал, что Милиция Николаевна очень любила декламацию, а мне так хотелось понравиться этой воспитательнице! И вот ни с того, ни с сего я стал читать стихотворение «Четыре ветра» Багрицкого, потом ещё что-то, потом начал петь «Во Францию два гренадера», «Смело, товарищи, в ногу» — всё, что знал.

Я думал, ей понравится и она похвалит меня, но Милиция Николаевна сказала:

— Ты очень спешишь и при чтении буквально захлёбываешься словами. Слова надо произносить чётко, ясно и громко. В старину был один оратор, Демосфен, так он отработывал дикцию, набрав в рот камешков. Ты о Маяковском что-нибудь слышал?

— Нет, — честно признался я.

— Когда он был маленький, примерно такой же, как ты, он тоже тренировался подобным образом. Вот послушай, как я прочту эти стихи.

Читала она прекрасно, обнажая неожиданный для меня смысл, о котором я даже не подозревал.

С Карпат на Украину
Пришел солдат небритый.
Его шинель в лохмотьях
И сапоги — разбиты.
Пропахший мглой ночлегов
И горечью махорки,
С георгиевской медалью
На рваной гимнастерке...

При этом она обращалась ко мне, а не вставала в позу и не декламировала «в потолок», как это обычно делали все ребята.

— Надо не декламировать, а рассказывать, — пояснила она.

...В колонии от ребят я узнал, что машу надо рвать с корнем, сразу весь куст, и непременно утром, по росе, когда стручки не лопаются, не то притащишь домой одну траву.

* * *

Пепельный тихий день. Камыш. Откуда-то тянет сыростью, где-то истошно орёт ишак. Кажется, что он кричит не глоткой, а желудком: и-и... вдох; а-а... выдох. На земле, среди травы, лежат тыквы. Никто их не сажал, они выросли тут сами. У одной выели бок кабаны. Тыква такая огромная, что я, кажется, могу в неё свободно залезть.

Тишина стоит таинственная и пугающая. Это потому, что на тыкве видны следы кабаньих клыков. Набираю полную фуражку семечек. Как ни странно, они не такие уж большие — почти обыкновенные тыквенные семечки. Я поджарю их на жестянке и съем. Если бы здесь был Яша Федорович Христофоров, я поделился бы с ним.

В этот тихий день я хочу полюбить кого-нибудь и чтобы он был так же красив, как мама — её образ не умер во мне и с каждым днём становится всё прекраснее.

* * *

Мир залит солнцем.

Мы идём проведать близлежащие бахчи. Переплываем речку и, не успев обсохнуть, рассыпаемся по полю. Мне посчастливилось напасть на огурцы, и я набираю их полную пазуху. Меня ничуть не волнует, что я совершил воровство.

Золото струится с неба на землю, на траву и на огурцы, которые я ем. Они очень странные: кожица покрыта каким-то непонятным пушком — на Урале я сроду таких не видывал. Вкус у них тоже не тот: как я их ни солю, они всё равно кажутся пресными и немного вяжут во рту.

Незаметно подходит Милиция Николаевна. Я даже вздрогнул.

— Это же не огурцы, мальчик, это всего-навсего зелёные дыни, — говорит она.

Голос у неё певучий и ласковый. Мне стыдно. Как это я дал такую промашку и наелся вместо огурцов зеленых дынь? Милиция Николаевна присаживается рядом со мной и берёт в руки маленькую дыньку. Конец белоснежного шарфика, свешиваясь, касается моей голой руки у локтевого сгиба. И вместо того, чтобы слушать, я думаю только о том, как бы шарфик не сдуло ветром. В этом легком прикосновении я чувствую что-то дружеское и мне жаль его лишиться.

Она, кажется, говорит что-то.

— Из этих зелёных дыnek вышли бы большие, настоящие, а ты сорвал их и не дал созреть. Не понимаю, как ты их кушал! Ведь они по вкусу напоминают мыло...

Она встаёт. Голос у неё немного назидательный, немного равнодушный.

— Что же ты молчишь?

Я, собственно, не молчу, я отвечаю, но только в уме. Сказать надо много. О том, что Милиция Николаевна мне нравится. И о том, что нельзя было отставать от товарищей...

Рассерженная, она уходит. Небесная голубень бесстрастно светит мне в глаза. Почему я молчал? Ведь сказать то, что думаешь, так просто...

Кукуруза

Чувство удачи я познал впервые на початке кукурузы-кормилицы.

Урожай давно убран и среди пожухлых стеблей кукурузы важно разгуливают коровы попеременно с колонистами. Ходишь, ходишь, бывало, по полю, избородишь его вдоль и поперёк — ни одного початка на стеблях; другие ребята между тем находят, и не один раз, так что

зло берёт; иногда до смерти перепугаешься со свистом вспорхнувшего из-под самых ног фазана; и вот, даже не верится собственным глазам: туго и как-то необычайно аппетитно обёрнутой самой природой початок — кукурузный кочан с рыжим чубом сверху, а внутри — белая или же красноватая кукуруза, зёрнышко к зёрнышку, — плотно прижавшиеся один к другому зубы.

И второе — чувство собственности, даже жадности, сладкой и ни с чем несравнимой жадности. Мой кочан; сам очищу, сам поджарю на жестянке. Предварительно я могу облить зёрна солёной водой и тогда они будут с треском лопаться, раскрываться, напоминая маленькие белые розы. Можно также обменять их на пайку хлеба: не беда, если какой-нибудь сластена останется без порции — думай, когда меняешься.

Не своей дорожкой

Общение с бывшими ворами и спекулянтами скоро дало себя знать: я тоже захотел стать таким же рубахой-парнем и сорви-головой, какими казались некоторые ребята. Насколько я себе уяснил воровскую программу, первая заповедь таких ребят была: ни в коем случае не работать. «Держать марку» твердо.

Однажды мы копали на огороде грядки. Как и следовало ожидать, я не очень-то старался. Нашли дурака. Что я, чокнутый, что ли, чтобы спину гнуть? Где бы ни работать, лишь бы не работать. Лучше кашки не доложь, да на работу не тревожь. Я без конца твердил эти и подобные им поговорки, чтобы поддержать свой воинствующий дух. Воткнув лопату в землю под углом, я надел на черенок шапку и опёрся спиной на этот своеобразный диван да ещё и ногу за ногу заложил. А для пущего шику напевал подслушанную у какого-то блатного песенку:

Взял я тебя босую,
Дуру безволосую,
И целый год в порядок приводил...
А ты мне изменила,
Другому пофартила,
Зачем же ты мне шарика крутила?

Песня казалась мне верхом совершенства, хотя я не очень-то вникал в её смысл. Она хороша уже тем, что её пели воры.

И вдруг я полетел на землю. Падая на мягкую грядку, увидел тараканы усы Бамц-Бумца. Ясно. Его рук дело.

Колонисты захохотали.

— Извини, пожалуйста, — нежно сказал Котофей. — Я случайно вышиб из-под тебя опору.

Ну и хитрюга!

— А ну дай-ка сюда, разомнись. — И он взял из моих рук лопату.

Вот добрый дядя! Вкальвай себе на здоровье во славу своей директорской зарплаты. Над нами не каплет.

Пока я филонил, многие ребята вскопали свои грядки почти до половины. Бамц-Бумц ярое взялся за дело и вскоре догнал их. Рубашка на его спине взмокла от пота, однако он всё копал и копал, приговаривая время от времени: «Вот — земля! Торг — не земля! Картошка в кулак уродится. Вот это земля!»

Наконец мне надоело стоять, и я попросил у директора лопату. Тот будто не слышал и продолжал работать.

Скоро он вскопает всю грядку до конца — моя дневная норма будет выполнена. Теперь, когда директор сам взялся за дело, колонисты стали так глубоко вонзать лопаты в землю, захватывали каждый раз такие большие пласты и с таким остервенением их переворачивали, точно всю жизнь мечтали вскапывать грядки, а им долго не хотели доставить этого удовольствия. Даже самые закоренелые лентяи стара-

лись не отстать. С их стороны это было свинством, да что с них спросишь, ведь они нигде не расписывались, что будут выдерживать марку лодырей до конца. Я думал, Бамц-Бумц на манер большинства начальников покопается только для показу, быстренько отдаст лопату и начнёт вытирать руки белым платочком, говоря: «Вот как надо работать, учись.»

Вышло иначе.

— Разрешите, Сан Саныч, я сам...

— Да не мешайся ты под руками, ушибу,— отмахнулся Котофей. Он вскопал грядку до самого конца, устало пошевелил тараканьими усами и ушёл.

Странно: никто не одобрил мои действия, никто не сказал: «Вот здорово ты прокантовался!» или ещё что-нибудь в этом духе. Может, ребята вовсе и не думали в то время обо мне: ну что ж тут такого особенного, если директор колонии вскопал за тебя грядку, считай, просто повезло, завтра отработаешь,— а я почему-то чувствовал себя не в своей тарелке. Отчего бы? Я сам удивился, когда сообразил, что мне стыдно и что я боюсь даже самому себе в этом признаться. Не могу я на чужом горбе ездить. Совесть не позволяет. Да и так ли уж необходимо стать трудновоспитуемым? Труд-но-вос-пи-ту-е-мым. Заковыристое словцо, чёрт его задери! Чего только не выдумают эти воспитатели! И всё же, как ни заманчиво оно звучит, придётся бросить эту затею. Буду, таким, какой есть.

Лицемерие

Осень.

Я иду навестить совхозное поле, где убирают редьку, и по дороге думаю о Милиции Николаевне. Мне нравится о ней думать.

Когда она появляется среди чумазных ребят, только что пришедших с поля и усталых так, что дальше некуда, среди нерях и ошарашек, которых и за неделю в бане не отмоешь, среди не очень чистых постелей, сваленных в кучу прямо на полу, потому что кровати до сих пор не привезли,— когда она появляется вот так, будто королева — хорошо одетая, молодая, сияющая, с приветливой улыбкой на лице,— я готов смотреть на неё целую вечность.

У неё всегда ярко покрашены губы.

Туфельки — дорогие.

Следом за ней незримо тянется пахучий шлейф, потому что — духи.

Ногти подточены и наманикюрены.

Рыжеватые, с желтинкой, волосы взбиты пышной причёской.

Казалось, колонисты должны были возненавидеть её и прозвать фифой, госпожей фуфыр-муфыр или ещё как-нибудь — они на это горазды. Но ребята её любят, потому что она — красавица. Она напоминает мне иную, красивую жизнь, про которую я догадываюсь, что она где-то есть. Какой счастливый этот Бамц-Бумц: он её муж. Несмотря на то, что мне известно, для чего люди женятся и выходят замуж, ревновать я еще не умею и не мечтаю жениться на Милиции Николаевне. В нашей предполагаемой дружбе я отвожу ей примерно ту же роль, которую имела в моей жизни мама. Впрочем, порой я представляю себя храбрым атаманом, и тогда все завершается свадьбой. Бамц-Бумц при этом отпадает совершенно автоматически. Я его игнорирую.

Однако вот и поле.

На куче редьки сидит бабай в киргизской треуголке и показывает мне кулак. Сторож дряхлый и не может меня догнать. Ружья при нём нет. Однако и редьки на поле нет, вся она собрана в кучу, на которой сидит старик.

У киргиза лицо доброе, всё в морщинах, он сидит на своей куче, как гостеприимный колдун.

Разговор идет напрямую. По словам старика, моя спина заслужила столько зарядов соли, сколько ее влезет в два вьючных хурджина. Кроме того, бабай желает, чтобы всемогущий аллах набил мою шкуру редькой и чтобы в таком фаршированном виде я попал в гости к голодным поросяткам.

В конце этой дружелюбной тирады я заметил на его киргизском лице слезы.

Он плакал и говорил, плакал и говорил...

Бабай стар. Бабай не в силах бегать так быстро, как эти оголтелые колонисты. Его глаза плохо видят, он не может метко стрелять. Да и не будет он стрелять в ребят из-за какой-то поганой редьки. Пусть уж лучше начальник снимет его с работы. Начальник не хочет держать караульщиком старого киргиза. Киргиз не поймал за лето ни одного ворышку, у киргиза тащат редьку прямо из-под халата...

Я слышал об этом старом стороже от ребят. Его жалели, но, к сожалению, уже после того, как порядком пообчистили охраняемое им поле.

Мне стало жаль старика, и я предложил ему свои услуги. Пусть он поведет меня в контору и представит по начальству. А я потом все равно отверну в сторону — смоюсь попросту говоря.

И началась волынка, в которой героем суждено было стать вовсе не мне.

Бабай сорвал с моей головы шапку, сунул мне за пазуху несколько грязных редек и повёл в контору совхоза. Это было не так близко: отсюда виднелся железнодорожный мост и город. В конторе люди суетились, бегали, им было явно не до меня.

Наконец нас позвал какой-то русский мужчина.

— Привёл, всё-таки? — спросил он у караульщика. Потом обратился ко мне: — Порядочно же ты набрал редьки, братец. Загрузился на совесть, что и говорить.

Я забормотал какую-то чушь.

— Врёшь ты, братец, — сказал начальник. — Не понимаю, что из тебя получится, когда ты станешь взрослым! — И обратился к бабаю: — Редьку-то собрали, что ли?

Тот утвердительно кивнул головой.

— Фамилия?

— Петряков.

— Врёшь! Звать?

— Петя.

— Врёшь! Отчество?

— Петрович.

— Ну вот что, Петряков, — сказал начальник, вставая, — забирай свои хвостатые ананасы и чтобы духу твоего здесь не было, ясно? Надоели вы мне хуже горькой редьки!

Бабай засопел, закричал и сказал начальнику:

— Неправуно! Ита есть карабчук... Мы его садим на каталашка...

Вместо того, чтобы отпустить, старый караульщик запер меня в сарай вместе с редькой. Как я ни уговаривал, ни стыдил его — все было бесполезно. Бабай вошел в роль по-настоящему. Он чувствовал себя героем. Подзывал проходивших мимо и те разглядывали меня в щели, будто опасного рецидивиста. А бабай рассказывал им, как гнался за мной чуть ли не три версты, как на него напали с ножами мои сверстники-бандиты, как он стрелял по нас картечью, не то его тело было бы изрезано на куски...

— Свистун! — кричал я киргизу.

Вечерело. В колонии ребята уже пообедали, а ведь опоздавших не кормят — такое правило. Чёртов бабай! По его милости я остался без обеда. Должна же быть у него хоть капля совести!

Наконец сторож открыл дверь, отдал мою шапку и... закричал таким пронзительным голосом, что я ошеспил.

— Вай-валла! Убивайт! Моя умирай! — кричал бабай, показывая, чтобы я убежал побыстрее. — Вай-валла! Режиком-за-ножиком, режиком-за-ножиком, моя умирай, вай-валла!

Комик, одним словом.

К месту происшествия уже трусила какая-то типично расейская бабка, и я, не долго думая, «подорвал» с места так, что пыль столбом.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ

В общежитии Милиция Николаевна занималась с ребятами. Я тоже начал усердно твердить упражнения, которые были заданы мне на прошлом занятии. Дело вот в чём: Милиция Николаевна нашла, что у меня «ленивые губы», потому что я говорю «деушка» вместо «девушка» и попросила потренироваться в быстром произношении фраз: «Купи кипу пик», «На дворе — трава, на траве — дрова», а также «Этот коллак надо переколпаковать, перевыколпаковать».

К сожалению, воспитательница замечает сначала не моё усердие, а грязную рубашку.

Откуда взялся в это время Бамц-Бумц, непонятно, но он пришел таки как раз в ту минуту, когда не надо. Р-раз! — и моя рубашка выдернута из-под брюк. На пол сыплются комочки земли и хвост от редьки.

Директор ведёт меня в кабинет, «напевая» по дороге старую воспитательскую песню. Впрочем, мотив этой песни довольно снисходительный и кулак не жат: по-видимому, всё обойдётся благополучно.

— Вот, что, Владик. — Котофей Тимофей усаживается на скрипучий стул. — Ты должен дать мне обещание, что бросишь воровать. Не твоё это дело, уж ты мне поверь, я таких, как ты, много повидал на своём веку. Я слышал, что в Шахмансуре ты даже директора не побоялся разоблачить, а здесь сам этим же делом занимаешься. Стыдись! Кем работала твоя мать?

— Врачом.

— Мать работала врачом, а её сын стал воришкой, ну куда это годится! Обещай мне бросить воровство.

— Обещаю, Сан Саныч.

— Кстати, наш заведующий складом уже три раза обещал то же самое, да, видно, смелости не хватает. Придётся снять его с должности. Только вот беда: некого поставить на его место. Разве что из ребят кого взять... Скажи, а если бы, к примеру, тебя назначили, ты бы справился?

Разговор принял настолько неожиданный оборот, что я не нашел слов для ответа.

— Согласился бы ты стать заведующим складом, если бы тебе предложили? Ну вот и прекрасно! Думаю, колонисты утвердят твою кандидатуру на общем собрании. Хлеба кушать будешь вдоволь. Картошку варить — вдоволь. За рис, макароны, сахар, повидло, изюм и печенье — составлю акт и посажу в тюрьму. Помни: не твои продукты, а таких же, как ты, ребят. Ясно?

— Ясно, Сан Саныч.

— Подумай о напарнике. Один ты не справишься, хотя и зовут тебя ребята профессором кислых шей. Да... совсем было забыл... Ты очень любишь декламировать? Уж не артистом ли собираешься стать? Мне говорила однажды Фелиция Николаевна что-то такое...

Из кабинета я выхожу гордый и, кажется, чем-то напоминаю индюка. Во-первых, меня похвалила Милиция Николаевна. Во-вторых, я стану в скором времени завхозом... или этим... как его... завскладом.

Первый, кто попался мне на пути и с кем я поделился своей радостью, был Козел — тот самый, что умел ловко выщипывать буханки.

Когда я ему выложил всё начистоту, он спросил:

— Значит, завскладом?

— Завскладом.

— И полный хозяин всей продуктенции?

— Полный хозяин. С напарником.

— Вот это здорово! Ты, думаю, не забыл, что мы с тобой всегда были друзья?

— Друзья?

— Ты просто забыл, шибздик. Короткая у тебя память, шибздик. Будешь мне давать хлеба и сахару.

— Не старайся, пучеглазый, не выйдет.

Сильнейший удар в грудь, и я лечу кувырком в арык.

— Дашь, — почти поёт Козел, выпучив свои бараньи глаза, — дашь как миленький. Не будь жмотом.

— Пучеглазый! Козел! Пузатик! Капиталист! — кричу я, стараясь припомнить все его прозвища, чтобы хоть как-то отомстить обидчику.

Я не могу сладить с Козлом: он в два раза сильнее меня и нахальнее.

Щи с керосином

Как-то раз, еще до моего вступления на должность завскладом, мы напали на капусту, случайно оставленную на полях.

И вот — в ведре уже закипает борщ из капусты, соли и воды. Когда к нам подошёл Котофей Тимофеич, мы и не подумали разбежаться: ведь капуста была «тихая», то есть не краденая.

— Поварите?

— Варим, Сан Саныч! — мы вскакиваем с земли, выказывая Бамц-Бумцу максимум почтительности — еще опрокинет вареву. Хотя капуста и «тихая», да откуда узнаешь, что у директора на уме?

— И что же вы варите?

— Борщ, товарищ директор!

— Суп скандей!

— Варим щи, Иди-в-клозет, — проговорился один из колонистов, называя директора не именем-отчеством, а кличкой.

— Что, что? Щи «иди-в-клозет»? — не поняв, переспрашивает Бамц-Бумц, так как не знает всех своих прозвищ. — Вот именно. Ты, оказывается, не лишён остроумия. Как звать?

— Помидор.

— Называй настоящее имя. За прозвища буду наказывать

— Ну, Вася Черных.

— Воровал?

— Бывало.

— Сидел?

— По маленькой.

— Почему у тебя ботинки на одну ногу?

— Спутали с Васькой.

— Кто этот Васька?

— Тёзка.

— Найди его.

— Эй, Клюква, жми сюда, покажи директору свои колеса.

Клюква подошёл. Однако размер его «колёс» был гораздо меньше да и цвет другой. Тимофей Котопеевич махнул рукой и снова занялся шами:

— Разве это щи? Картошка есть?

— Картошки нет.

— Петрушку с укропом положили?

— Забыли, Сан Саныч.

— Да ведь это баланда у вас, а не щи.

— Как щить дать — баланда, — немедленно соглашаемся мы, и у нас оживает надежда, что её не постигнет ужасная участь быть пролитой на землю.

— Как же так? Неужели не осталось на полях хоть какой-нибудь завалившей свёклы? — любопытствует Бамц-Бумц.

— Осталось, — угодливо отвечаем мы, — если надо, сейчас притащим. Хоть целый пуд.

— Зачем же пуд? Одной нам хватит. Знаете что? У меня дома есть сало, настоящее, в три пальца. Если примёте нас с Фелицией Николаевной в пай, так и быть, внесу своё сало.

Мы молчим, потому что не можем сразу поверить в такую удачу.

— Так что же, принимаете?

— Принимаем! — горланит мы хором.

Он загонял нас за свёклой, за луком, и даже за перцем. Продукты приходилось искать на пустых полях, с которых давным-давно всё было собрано. Зато и борщ получился на славу. Правда, он припахивал керосином, так как ведро было из-под солярки, а мы не смогли его как следует отмыть. Однако Котофей ничего не сказал про керосин.

Мне пришлось сидеть рядом с Милицией Николаевной. Она смеялась и без конца хвалила наш борщ. Ей нравилось всё: и то, что он припахивает керосином, и то, что мы кушаем прямо из ведра. По её мнению, это было в высшей степени оригинально.

Мы расположились прямо под открытым небом, на земле. Кто сидел на камешке, а кто — на чём придётся.

Оттого, что рядом была Милиция Николаевна, я сидел будто священный. Помнится, мы протянули ложки за борщом одновременно: над закопчённым ведром я увидел белую руку с гибким запястьем. Розовый лак был на её ногтях, а на безымянном пальце — колечко из серебра.

А моя рука была грязная и в цыпках. Я моментально отдернул её — как обжёгся.

Бей!

Вот уже неделя, как я стал завскладом, а колонист Плотник (его фамилия — Плотников) — моим напарником. В смысле административном мы абсолютно равноправны. И всё же, несмотря на столь высокую должность и сытый желудок, я не чувствую большой радости. Пучеглазый Козел не даёт нам житья. Достается больше всего, конечно, мне, как более слабому, но и Плотник не всегда выходит сухим из воды. Он уже не раз оделял Пузатика то хлебом, то кишмишом, и только я не дал ему ни крошки. Плотнику, тому ещё ничего: он не давал директору слова. Конечно, разбазаривать казённые продукты не очень-то красиво, но что поделаешь, если от бесконечных зуботычин и тычков на тебе даже места живого нет? Тут я очень хорошо понимаю напарника.

Третьего дня меня снова излупил Козел. Один зуб во рту шатается, и я боюсь, что в следующий раз он обязательно вылетит. И все же носить Пузатику сахар я не буду. Не для того я давал слово Сан Саньчу, чтобы оказаться подлецом. Характер у меня хотя и тихий, зато настырный, как говорят ребята. Но даже и не в этом дело: просто я не хочу опозориться перед Милицией Николаевной. Одно ее доброе слово для меня дороже всего на свете, а её порицание страшнее любых побоев.

Осторожно, как крысы из норы, выглядываем в дверь. Пучеглазого вроде бы не видно. Сонно шумит река. Где-то далеко плачут шакалы. Я выхожу первый, крадусь, как вор, на цыпочках. Заворачиваю за угол и натываюсь на Козла.

Пузатик предварительно забирает в горсть ворот моей рубахи и спрашивает:

— Принёс?

— Нет,— отвечаю я,— нет, Козел, не принёс, отцепись от меня на три версты, чего пристал?

Первый удар был особенно крепким. Из носа закапало тёплое и потекло по подбородку на рубаху. Козел всегда так бьёт — без предупреждения, и всегда застаёт меня врасплох.

— Поди принеси полбуханки хлеба, шибздик.

— Нельзя, Козёл,— униженно прошу я,— ты же знаешь, я слово Котофею давал. Я тебе отдам, а кому-другому не достанется.

Снова удар. Голова моя стучается затылком о стенку.

Я делаю открытие: некоторые удары в темноте светятся. Они вспыхивают где-то возле глаз голубыми болотными огоньками и тут же гаснут.

Я пытаюсь защищаться.

Короткая схватка, после которой я получаю фонарь под второй глаз и прекращаю сопротивление.

— Притартаешь? — опять спрашивает Козел.

— Бей, бей, проклятый! — в отчаянии самопожертвования шепчу я. Козел так меня запугал, что я даже кричать боюсь.— Бей, всё равно ничего не получишь.

После этих слов я бессмысленно долго стучаюсь головой о стенку. Наверное, на мне нет живого места.

Не забуду, до сих пор не могу вытравить то паршивое чувство, которое я испытал в те минуты. Тебя хладнокровно избивают, а ты ждешь, робкий и бессильный что-либо сделать, когда же всё это кончится. Удары идут равномерно, исторопливо, и по мере того, как ты всё больше и больше падаешь духом, тебе хочется крикнуть во все легкие своему противнику: «Прекрати же, наконец! Разве ты не видишь, как мне трудно и больно, ведь я тоже человек, поймей же, бандюга, человеческую совесть».

Где-то внутри, в самом болезненном и изувеченном месте души, рождается раболепное чувство ожидания милости от того, кто тебя так равнодушно и безжалостно избивает, и уже начинает казаться, будто бьющий — не такой уж плохой человек, пожалуй, он наверняка даже хороший человек, а вовсе не палач, и кажется тебе, что ты почти любишь врага, и возникает подлая мысль схватить и целовать руку, на которой запеклась твоя собственная кровь...

Чувство это свойственно только детям и не дай бог, если оно остаётся к возмужалости.

Я сдался. Вернулся к кладовке, негнушными пальцами открыл дверь. Один палец был ободран и, видимо, вывихнут. Я взял нож и стал резать хлеб. Но едва я нажал на ручку, как чуть не вскрикнул от боли: большой палец на правой руке обожгло, будто огнем. Разбитые губы тоже болели. Я снова взялся за нож, и снова острая боль не дала мне разрезать буханку пополам. Я долго стоял над неразрезанной буханкой, совсем забыв о своем мучителе. Боль вернула мне мою гордость. Я решительно швырнул нож, он ударился обо что-то и зазвенел в темноте. После этого я вышел — навстречу Пузатику и ударил первый.

Я, кажется, промахнулся. У Козла было слишком много жира, и весь он — как студень: не пробьешь никакой силой.

Он бил меня в ухо, в зубы, «под дыхало» и еще куда-то. Не помню, как я добрался до постели и лёг. Лёг совершенно спокойно, ничем не потревожив спящих.

Что мне было делать? Пожаловаться Бамц-Бумцу нельзя; порядки на этот счёт в колонии были жестокие: за ябедничество полагался про-

менаж и всеобщее презрение. Козел сильнее всех ребят в колонии, с ним вряд ли кто-нибудь станет связываться.

Почему я бросил в кладовке нож? Испугался? Надо было пырнуть им Козла в пузо. А может быть, и в самом деле завести мне финку? Ведь ходят же другие...

К побоям я постепенно привык, но зато явилось другое пугало: мрачное видение тюрьмы, в которую нас в Плотником непременно посадят за растрату. Судьям я, разумеется, не скажу, что не давал Козлу ни грамма общественных продуктов: таково было мое понятие о чести колониста.

Куча мала

Как раз в это время среди ребят распространилась мода на зажигалки и ножи. Директор сразу же понял, чем это пахнет, и издал специальный приказ, обрекающий провинившегося на строжайшую кару, вплоть до исключения из колонии. Однако не проходило недели, чтобы кому-нибудь не разукрасило синей пороховой краской физиономию.

Я сделал нож из тонкого листа стали — узкий, зато длинный, и стал постоянно носить его в кармане. Когда-нибудь, тёмным зимним вечером, я пырну этой финкой своего врага.

В связи с этой историей я должен буду рассказать также, как меня впервые ударил Бамц-Бумц.

Случилось это следующим образом.

Однажды ребята затеяли кучу малу. Куча собралась такая большая, что верх её приходился вровень с форточкой. Мне было вовсе не до кучи, бока мои и так уж болели от побоев, но мной овладело вдруг какое-то лихорадочное желание веселиться, скакать, сделать что-нибудь особенное.

Я не удержался и, разогнавшись как следует, прыгнул на самый верх. Вопли по общежитию неслись отчаянные, а тут, от нового толчка, ещё усилились. Как водится, вскоре я оказался внизу. Меня придавили, пришлось согнуться в три погибели да так неудобно, что острие ножа немного вошло в бедро. И чем больше наваливалось на меня сверху ребят, тем глубже вонзался нож в мою ногу. Напрасно я орал благим матом: никто не обращал в общем гаме на мои вопли ни малейшего внимания. Даже наоборот — чем сильнее орал я и другие несчастливцы, тем больший восторг вызывало это у верхних.

Наконец куча мала, будто по команде, распалась, все разбежались кто куда, и только один я остался посреди комнаты.

- Дринь-Дрины! — крикнул кто-то.
- Мось-Мось! — откликнулись из угла.
- Шухар, Сан Саныч топает!
- Котофей!!
- Тимофей!
- Филоктет на горизонте!
- Васер!
- Атанда!
- Кузьма, иди в клозет!
- Бамц-Бумц!!

На пороге стоял директор. Он подошёл ко мне, снял с меня штаны и вытащил нож из ноги. Глаза у Бамц-Бумца стали какого-то бешеного, капустного цвета и он так удачно треснул меня по башке, что я до сих пор слышу этот удивительный звон.

— Бамц! — немедленно констатировал оплеуху один из колонистов, предварительно спрятавшись за чужие спины.

— Бумц! — подвёл итоги другой.

— Будешь вне очереди пять дней чистить ватер-клозет,— приказал Бамц-Бумц.

— Иди в клозет, иди в клозет, иди в клозет,— потихоньку советуют мне ребята.

— Впрочем, нет. Ты уже получил наказание.

— Не ходи в сортир, не ходи в сортир, не ходи в сортир,— шепчут сбоку невидимые комментаторы.

Директор велел принести воду, бинт, йод и сам перевязал мою ногу. От йода рану щипало и мне хотелось только одного — заорать во всю мочь, но я боялся, что Котофей устроит мне еще один колокольный звон.

Искусство требует жертв

Заметив, что дело с декламацией подвигается довольно туго и колониисты никак не хотят проявить свои таланты, Милиция Николаевна решила начать с азов — поставить, как говорят артисты, своим подопечным дыхание. Она прикладывала руку к диафрагме испытуемого и просила декламировать сначала на первом, потом на втором дыхании. При этом она почти всегда заставляла произносить одну и ту же фразу:

Встаёт заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчиhoю голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит — и путник осторожный
Несётся в гору во весь дух...

Особенно плохо шли у неё дела с толстопузым Козлом. Он в этом деле совсем ничего не кумекал. Тогда воспитательница решила показать ему, как нужно регулировать при помощи диафрагмы дыхание:

— Не надо дышать, будто запалённая лошадь,— вразумляла его она.— Дыхания должно хватить на всю фразу. Не напрягай живот,— он у тебя такой большой, что невозможно отыскать диафрагму.

— У него, наверное, нет диафрагмы,— высказал своё мнение один из ребят.

— Он её проглотил!

— Пузатик!

— Капиталист!

— Буржуй толстобрюхий, где твоя голодная волчица?

Прозвища и эпитеты сыпались со всех сторон. Воспитательница, разумеется, прекратила эту забаву, сказав, что давать прозвища — нехорошо. Она взяла руку Пузатика и хотела приложить к своей диафрагме: следы, Козел, за образцовым дыханием. Тот отдернул руку, будто прикоснулся к раскаленной печке. Однако искусство требует жертв, и Пузатик в конце концов осмелился. Выражение его лица в это время было самое идиллическое. Незвестно, что пришло ему в голову, сам Козел тоже не мог этого объяснить толком, но только он вдруг схватил всей пятерней хорошо натренированную диафрагму воспитательницы.

Гром не грянул среди ясного неба, Козел не провалился в преисподнюю. Наоборот, он стоял как ни в чем не бывало и глупо ухмылялся.

Милиция Николаевна побледнела и не сказала ни слова. В комнате стало темнее.

— Продолжим, дети,— сказала она сухо.

С этого дня Милиция Николаевна уже не замечала Козла. Он стал для неё пустым местом.

Через час проштрафившийся был вызван в кабинет всесильного

Бамц-Бумца, а ребята побежали подслушивать. Мы так и решили, что ему влетит по первое число.

Наконец оттуда пробкой вылетел Козел. Вид у него был крайне озадаченный.

— Съездил по кумполу? — спросили его с чисто спортивным интересом.

— Бамц?

— Бумц?

— Угостил?

— Влетело?

— Шишмак на лоб поставил?

— Съел подзашлычину?

— Нет, — отвечал он, удивленный не меньше нашего.

И все сразу догадались, что для Козла было бы удобнее, если бы Котофей всё-таки съездил ему по фотографии. Однако он не стал марать руки. Значит, это было гораздо хуже. Директорские затрешины вдруг приобрели в наших глазах новый, до того не известный нам смысл. Все заметили, что воришек и хулиганов Бамц-Бумц награждал тумакми охотно, однако никогда не трогал лентяев, маменькиных сыночков и всех тех, кого колонисты называли придурками.

В классе

Осенью мы начали учиться. Я попал в третий класс.

...Один из колонистов отвечает урок по географии.

— Италия — Рим, — бубнит он, — Франция — Париж, Северо-Американские Соединённые Штаты — Вашингтон, Германия — Берлин, Англия — Копенгаген...

Класс моментально приходит в движение, начинает работать сигнализация, так называемый слоговой разговор, который ни один из воспитателей не в состоянии пока усвоить.

— Ло-ло-ло... ох-ох-ох... но-но-но... до-до-до... ох-ох-ох... Лоохнодоохно...

Учительнице, конечно, невдомёк, что это за зверь — Лоохнодоохно, а колонист моментально исправляется:

— Англия — Лондон...

...Васька Помидор поднимает руку и старательно пыжится.

— Ты хочешь отвечать? — удивляется учительница.

— Нет, Елизавета Аркадьевна.

— Так что же тебе нужно?

— В клозет...

Выжидательная тишина.

— Вот честное слово, вот с места не сойти, Елизавета Аркадьевна.

— Ничего, скоро звонок.

Мы сидим на уроке родного языка. Чернявая учительница в очках объясняет нам, как надо находить в предложении подлежащее и сказуемое.

Я не очень интересуюсь, что там такое она говорит. Вчера меня опять отколошматил Козел. Хорошо ещё, что я сумел вовремя удрать. Чувствую себя не так уж плохо. Тем более, что привык к тумакам, и они оставляют какие угодно следы, только не нравственные.

Если и тревожит меня что, так это мрачное видение тюрьмы. Другие ребята побывали там не раз, а вот я ещё не был. Решётчатая, каменная, она даже по ночам мне снится. В самые весёлые, самые счастливые минуты, которые ко мне приходят не так уж часто, я вспоминаю о ней. Судьям я, конечно, ничего не скажу. Котофею — тоже. Правду узнает одна только Милиция Николаевна, да и то не раньше, чем я возьму с неё страшную клятву молчать до гробовой доски.

...На поле тарыхтит трактор. Его пригнали к нам недавно и назы-

вается он «фордзоном». Хорошо бы побегать сейчас к фордзону и бросить шапку под колесо. Трактор такой тяжёлый, а шапка всё-таки остаётся целой. Надо только устроить так, чтобы не увидел какой-нибудь воспитатель. Воспитателям не нравится, что мы крутимся возле машины. Они вечно гонят нас прочь, будто трактор сделан из повидла. Вот бы сейчас проехаться с грохотом мимо кухни по нашему полю!

В этот момент я искренне убежден, что стоит только сесть за руль, как всё устроится само собой и я стану настоящим трактористом: эка невидаль — крутить баранку!

Васька Помидор снова поднимает руку. Он корчит при этом самые жалкие рожи, морщится, елозит на скамейке и откровенно выражает телячье нетерпение.

— Тебе чего, Черных? — спрашивает учительница.

— В клозет. Терпенья нету.

— Нехорошо обманывать. Черных, очень нехорошо, — отвечает учительница. — Простый раз я отпустила тебя, а ты позвонил в рельсу и сорвал урок.

— Ей богу, это не я, Елизавета Аркадьевна. Пустите, Елизавета Аркадьевна. Вот честное... пирирейское.

Учительница наконец клюнула на удочку. Ей, безусловно, показалось, будто Васька Помидор сказал «честное пионерское», но мы-то прекрасно знаем, что он и не думал говорить «пионерское», он сказал «честное архиерейское», но так умело, что Елизавета Аркадьевна не расслышала как следует.

— Ну, хорошо, иди. Но если...

Помидор стремглав летит к выходу, учительница умолкает на полслове, убедившись, что её напутствие запоздало.

Мы сидим и ждём, когда Помидор постучит в рельсу, которая служит нам вместо звонка. Если заветные звуки раздадутся даже за полчаса до окончания урока, никакая сила на свете не сможет удержать нас и Елизавете Аркадьевне останется проследить только за тем, чтобы ей не стоптали в сумятице ноги. Так будет обязательно. Знаем это мы, знает и Елизавета Аркадьевна. Помидор очень любит колотить в рельсу по всякому случаю и просто так — без всякого случая. Это у него болезнь, вроде коклюша. Когда он избавляет нас от скучных занятий, мы приветствуем его с меньшей помпой, чем римляне Юрия Цезаря во время триумфального шествия. Когда же его заставляют вычистить сортир, мы остаёмся в стороне: в конце концов это его личное дело.

Звонок! Гремят парты: в классе поднимается суматоха, пыль столбом стоит в воздухе, все вскакивают и бегут к выходу, воздавая на ходу хвалу Помидору, которому придётся услышать знаменитое: «Иди в клозет и наведи там зеркальную чистоту».

Через минуту мы окружаем присмиривший фордзон плотным кольцом. Он фыркает и ужасно дымит.

Собираются воспитатели и гонят нас прочь. Вскоре им на помощь приходит повариха. Эту мы побаиваемся: ещё чего доброго налёт при раздаче жижи, а гущицу преподнесёт какому-нибудь любимчику.

Мне кажется, что фордзон — умнейшее существо на свете, самое сильное, самое работающее. Гремя железным нутром, он движется прямо на меня, но я стою, испытывая свою выдержку, чтобы отскочить в самый решительный момент. Что-то брэнчит, и я чувствую сильнейший удар по заду. Это, конечно, не Бамц-Бумц: тот счёл бы ниже своего достоинства лупить по такому зазорному месту. Оглядываюсь. Так и есть: меня огрела ведром повариха.

— Себутной мальсиска! — присюсюкивает она, замахаясь вторично. — С-сто это такое, под масину сам баску подсовываеесь?

Я показываю поварихе язык и начинаю привыкать к мысли, что за ужином она налёт мне одной жижи.

Выстрел из пушки

По ночам вокруг колонии слонялись шакалы. Особенно им нравилась свалка, что находилась метрах в пятнадцати от общежития. Мы не обращали на них внимания, пока не произошел один случай.

Однажды, когда все уже улеглось, я пошел зачем-то на улицу и сразу же поскользнулся в коридоре: на полу замерзло много льду. Падая, я наткнулся на что-то мягкое и шерстистое, которое молча отпрыгнуло от меня к выходу. Но двустворчатая дверь захлопнулась и не дала выскочить удиравшему.

В то время возле колонии появился вор. Не наш, а чужой. И по специальности он был безусловно фитиль, то есть вор самый мелкий, кусошник. Он воровал у нас одеяла и всё, что придётся. Нас это выводило из равновесия. Как так? У нас, колонистов, бывших воров, тягает «постельные принадлежности» какой-то уголовный элемент?

Недаром даже сам директор дал нам понять, что если мы применим к вору свой собственный метод убеждения, хотя бы тот же променаж, он не будет мешать столь полезному делу.

Решив, что передо мной находится тот самый фитиль, я заорал что есть силы, призывая ребят на помощь, и бросился к вору с намерением ухватиться за него и не дать убежать. Рисковал я немногим: бить ему пришлось бы не более полминуты, а это сущие пустяки по сравнению с той обработкой, которую я прошёл у Пузатика.

Но когда я бросился к фитилю, на меня вдруг сверкнули два огненных глаза и опять что-то прыгнуло в дверь, отчего она затрещала.

Тут уж я струхнул по-настоящему: оказывается, это был не вор, а шакал. Сообразив, что хорошего в этом положении ждать не приходится, я попытался улизнуть и упал, да так неудачно, что шакалу с испугу пришлось укусить каблук моего ботинка. Прибежали на мой крик ребята, но и они стали падать в темноте; кто-то навалился на меня, кто-то закричал; в углу раздалось рычание перепуганного насмерть шакала, сверкали огненные глаза; невообразимый клубок вскоре образовался в тесном коридоре. Наконец шакал всё же выскочил на улицу, и ребята постепенно пришли в себя.

Всё это так разозлило нас, что было решено раз и навсегда покончить с шакалами. Тайные приготовления к битве начались на другой же день.

Где-то раскопали обрезок толстой водопроводной трубы диаметром примерно в гранёный стакан, забили один её конец и пропилили запальное отверстие. Целую неделю шла подготовка к бою: доставали спички, счищали с них серу; кто-то разжился порохом, кто-то горючей серой и бертолетовой солью; стакана полтора драгоценной смеси, добытой столькими трудами, было всыпано в дуло пушки, потом забит пыж. После этого в трубу набузовали железных обрезков, камешков, дрови и снова забили войлочным пыжом.

Теперь пушка была готова к действию. Оставалось только приладить её к окну и навести на мусорную кучу, куда по ночам обычно собирались пировать шакалы. Когда и это было сделано, мортиру прибили наглухо к подоконнику большими гвоздями, каждый в виде скобы. И вот почти всё готово: смертоносное орудие наведено — дело было только за незваными гостями.

Правда, при назначении «орудийного расчёта» возникло небольшое недоразумение: ребята хотели назначить заряжающим, в обязанность которого входило подпалить селитру в запальнике, одного парнишку, доставшего сразу пять коробок спичек. Но в это дело влез Пузатик и нахрапом захватил должность, хотя и не принимал участия в работе. Перечить ему не стали, согласились назначить Козла заряжающим — не лезть же из-за этого в драку.

Наступила ночь. Было светло и хорошо видно, потому что сияла луна. Часам к двенадцати стая собралась в полном составе за ближними холмами и начала свой ночной концерт. Вой этот очень напоминал детский плач, и колонисты, привыкшие к тому, что к нам иногда подбрасывали детей, даже выходили посмотреть, не плачет ли на пустыре чей-нибудь ребенок.

Вскоре звери пьськом потянулись к помойке и принялись усердно ковыряться в ней. Мы ещё раз проверили свою мортиру.

Шакалы находились с другой стороны и не попадали под выстрел, но пушку мы не могли передвинуть, ведь она была прибита наглухо. Никто не спал, а в комнате стало так тихо, будто никого в ней нет. Разве иногда услышишь осторожное сопение над ухом — только и всего. Постепенно стая обошла свалку и оказалась как раз под прицелом.

Расчёт приготовился к бою.

— Заряжай! — скомандовал командир орудия.

Это означало, что второй номер должен подать Пузатику спички.

— Есть заряжай!

— Трубка ноль, прицел девяносто пять! — слышится знакомая, вычитанная из какой-то книги команда.

— Готово, товарищ командир.

— Подпалая!

Пузатик чиркнул спичкой, боязливо пряча голову и выставив живот; все попрыгали за стену, чтобы в случае разрыва не угостило по голове куском трубы или кирпича.

— Есть, подпалая!

— Огонь! — шепчет слегка струхнувший командир, подальше отходя от мортиры.

Если бы кто-нибудь в это время заглянул к нам снаружи, он увидел бы, что первое окно совершенно свободно, зато два других до самого верха битком набиты ребячьими лбами, расплюснутыми носами, ушами и любопытными глазами, которые решили полюбоваться лунной ночью, пока их хозяева спят. Вид внутри общежития был ещё живописней: кто стоял на четвереньках, кто на ногах, кто взгромоздился на спины нижних, а кто и на скамейки. Один, догадливей всех, подвесился ремнём за крюк, торчавший в стене; колонист перегнулся пополам — ремень резал ему живот — и всё пытался на головах нижних отыскать точку опоры.

Сияет луна. Тихо.

Но вот зашипела спичечная селитра в запальнике; в пушке взвыло и сразу же раздался оглушающий грохот, будто обвалились потолки. Комната мгновенно наполнилась кислым дымом; Пузатик заорал со страху, как зарезанный, шарахнулся в сторону и придавил какого-то малыша своим огромным пузом, отчего тот перепугался еще больше Пузатика и заверещал во всю мочь; две кучи у окон потеряли равновесие и развалились с торжествующими воплями. Все бросились к свалке, за одну минуту комната опустела, и только подвешенный за живот колонист еще некоторое время беспомощно болтался вверх, дрыгая ногами и стараясь соскочить на пол.

Последствия были такие: три растерзанных шакала и четыре раненых; недобитых догнали и убили палками и камнями; пушку вырвало из гнезда и она валялась на полу, похожая на большой черный цветок; в подоконнике оторвало одну доску и выбило кирпич; никто из колонистов не пострадал.

Но было и еще одно последствие, о котором ни я, ни Плотник, ни Козел и никто из колонистов пока не знал. Начало всему положил трусливый вопль Пузатика, который все слышали. Он натолкнул нас с Плотником на кое-какие размышления и послужил причиной еще одной перепалки.

Мы устроили вокруг шакалов нечто подобное боевому танцу индейцев. Далеко по степи разносились воинственные клики победителей.

Вдали показался силуэт директора.

Ребят у помойки будто ветром сдуло. Не прошло и минуты, как все оказались на местах; счастливый храп понёсся по общежитию. Только некоторые ещё ворочались: они остались без одеял и каждый пытался сдёрнуть соседское—своё искать было некогда.

Наконец всё стихло. Теперь слышен был один только торжественный храп.

Держись, Пузатик!

Ну и денек: небо хмурое, а туч нет, в воздухе пыль летучая стоит без ветра. Не поймешь, то ли вечер, то ли день, то ли зима, то ли лето. Февраль месяц, а на дворе даже грязи нет.

Мы с Плотником перевешиваем провизию. На весы больше пяти килограммов не умещается, поэтому приходится без конца перекладывать продукты из мешка в мешок, записывать каждый вес. Результат получается неутешительный: изюму не хватает полтора килограмма, сахару — три, печенья — тоже три.

— Проклятый Пузатик! — чертыхается Плотник. — Ненасытная утроба!

Я молчу: зачем говорить, если всё и так ясно.

— Что же делать? — окончательно теряется Плотник. — Филоктет может устроить ревизию и тогда нам амба. Вот было бы здорово, если бы Пузатик обожрался и подох, — мечтательно произносит он.

Мне эта мысль нравится. Пузатик действительно имеет такую привычку — объедаться. Сытости он не понимает, как, впрочем, и некоторые из ребят: они прекращают жевать только тогда, когда возникает опасение, что может лопнуть живот. Я предлагаю Плотнику такой вариант: мы всякими увертками находим две буханки хлеба, кило печенья и ещё чего-нибудь. Повидло в бочке скоро кончится, и на стенках всегда можно наскрести с полкило. А если постараться и сдирать вместе с деревом, то и все восемьсот граммов будет. Затем мы приносим плохой арычной воды на заповку и приглашаем Козла в гости. Он будет жрать, а мы будем его обслуживать.

Объевшись, он станет неповоротливым — один ноль в нашу пользу. У него появится одышка — два-ноль. Потом мы уговорим его позволить нам ради спортивного интереса ударить по животу. Козел соображает через час по чайной ложке и обязательно разрешит — три-ноль. И тогда мы отлупим Пузатика за все те разы, которые нам пришлось от него претерпеть.

Целую неделю мы готовились к приёму гостя.

Каюся, я подмешал в повидло немного мыла, а воду из арыка, в котором росли красные водоросли, сдобрил суперфосфатом, всегда в обилии валявшемся на колхозных складах. Я бы, может быть, и ещё чего-нибудь подсыпал, да просто ничего другого придумать не мог.

Мы нашли Пузатика за кухней, где он жарил на листе железа кукурузу и тут же хрумкал, забрасывая пригоршнями в рот.

— Вызываем на спор, Козел, — сказал я. — Мы тебя накормим от пуза, а за это изо всей силы по животу трахнем, посмотрим, свалишься ты с копыт, или нет.

Всё удалось как нельзя лучше, даже по одному бесплатному удару мы выторговали.

И вот Козел сидит на мешке с мукой и уминает казённый хлеб с повидлом. Повидло — пополам с деревянными оскрёбками от бочки, но Пузатик ничего не замечает, его живот способен, наверно, переварить даже камень.

— Запивай, Козел,— радушно угощаю я и подвигаю гостю алюминиевую кружку с арычной водой, в которой водятся красные водоросли и есть некая доза суперфосфата.— Пей, Козел.

Пузатик ест самозабвенно. Уже вторая буханка исчезает в его жорливой пасти. Мякиш у неё сырой — Плотник постарался выбрать именно то, что нужно. Утроба Пузатика потихоньку вспучивается. Он чавкает, сопит и пьёт воду.

— Чтой-то будто во рту вяжет,— говорит он, косясь на кружку.

— Глина, наверно,— успокаивает его Плотник.— Сам ведь знаешь, вода в Кафирнигане мутная.

Козел хмыкает и принимается за печеньё.

Наконец он отваливается, тяжело дыша.

Всё.

Теперь ему крышка.

— Подставляй живот, Пузатик.

— Натё, лупите.

Мы с Плотником бьём что есть силы. Пузатик ухает, вякает, кричит, однако держится довольно бодро.

Я беру деревянный половник, которым разливают масло. Физиономия у Пузатика противная, такая, про которую говорят, что она просит кирпича. Глаза — навькате.

— Ну, Пузатик, держись, сейчас я тебя благословлю,— говорю я и опускаю что есть силы на его голову увесистый черпак.

Плотник быстрёхонько схватывает горсть муки и бросает её Козлу в глаза. Пока тот чертыхается, я успеваю ударить черпаком по животу Пузатика, а Плотник зачерпнуть кружкой хлопкового масла и облить Капиталисту его толстомордую вывеску.

Пузатик, сопя, набросился на меня, повалил и придавил своим пузом. Но сзади на него навалился напарник и стал тужить Капиталиста сверху, благо ему очень удобно было это делать.

В это время я заметил, что упираюсь рукой во что-то мягкое — оказалось, в муку. Пальцы сами собой сжались и захватили пригоршню. В первое же мгновение, когда Пузатик открыл своё хайло, чтобы выругаться, я натолкал туда муки и для верности прихлопнул ладошкой. Капиталист замычал и отпустил меня. Тут уж мы навалились на него с Плотником по-настоящему: забыв в пылу борьбы о казённых продуктах, о растрате и даже о тюрьме, мы измазали рожу Пузатика повидлом, притерли мукой, сдобрили хлопковым маслом, старательно забили этой смесью рот, нос, глаза, уши, так что Пузатик стал похож на ведьму, на чучело, на лешего — на всё, что угодно, только не на человека.

Пузатик мычал и пинался ногами.

Тогда мы привалили ему ноги мешком с солью; я снова схватил поварёшку, которой разливали масло, Плотнику попала под руку хвостатая редька, и мы наперемёнку начали барабанить по огромному животу вымогателя, будто хотели выбить из него весь сахар, все буханки, которые угрозами взял и сожрал Пузатик.

Мы обработали его на совесть, и наш храбрый директор, заглянувший на шум, даже попятился назад от удивления.

Против ожидания Бамц-Бумц и не подумал смеяться. Он молча осмотрел разгром, произведенный в кладовке, и сказал, что снимает нас с должностей за безответственность.

Из всех приказов Бамц-Бумца это был, наверное, последний.

С тех пор мы не боялись больше Пузатика и в насмешку спрашивали при первом же удобном случае:

— Пузатик, кишмишу хочешь?

— Пузатик, половника тебе или редьки?

— По лбу или по животу?

Когда надо очень много сказать

Дня через три мы провожали нашего Бамц-Бумца в город. От ребят редко что можно скрыть, и вся колония уже знала, что его сняли за слишком резвые кулаки. Бамц-Бумц построил ребят, чтобы проститься с нами. Колонисты стояли хмурые и недовольные: им жаль было расставаться с директором

— Ребята! — сказал Бамц-Бумц. — Меня сняли с должности за то, что я занимался рукоприкладством.

— Брехня! Всё инспектора навистели! Фраера с портфелями!

— Не шумите зря. Вам пришлют директора гораздо лучше, чем я.

— Штымба пришлют, гоголя-моголя в портфеле!

— Не хотим!

— Пусть Котофей остается!

Директор грозно рявкнул:

— Кто сказал — Котофей? Выходи!

Вышел Васька-Помидор:

— Так я ж любя, Сан Саныч...

— Ну, вот что, ребята! Снимают меня правильно. Признаю свой грех. И прошу прощения у всех, кого обидел. Не поминайте лихом, ребята. Всё. Р-разойдись!

Потом мы долго брели за бричкой, на которой были сложены вещи. Бамц-Бумц шел пешком и, как мог, утешал нас. Он и сам, видимо, не ожидал, что вызвал в наших сердцах столь сильную признательность: морщился, нагибал голову, двигая, как таракан, усами; смотрел куда-то в сторону, но только не на колонистов, а мы всё шли за его телегой, всё не могли оставить драчливого Бамц-Бумца одного.

Напрасно он гнал нас назад: вот уже и город показался, и железнодорожный мост стал виден; по этому мосту надо было пробираться тайком, чтобы не заметила охрана.

Как это ни странно, мы уважали директора, который любил подкрепить внушение увесистым тумачком. Зато он никогда не смотрел на нас стеклянным инспекторским глазом, умеющим в тысячу раз увеличивать людские грехи и пороки.

Рядом с Бамц-Бумцем, забегаая то с одной, то с другой стороны, шел Васька Помидор и пинком отшвыривал камни с дороги, чтобы о них не споткнулся Бамц-Бумц.

— Сан Саныч?

— Что?

— Так вот, значит... Ребята значит, мне поручили... Вроде того, значит, что мы... ну, как бы уважаем, что ли... вас то есть. Ну и ребята спрашивали...

Бамц-Бумц водит по-тараканьи усами и старательно улыбается.

— Ребята, значит, спрашивали... про фамилию начальника, который вас снял... А если нужно, Сан Саныч, так мы этого начальника-губошлепа момент в грустный порядок приведем, наведем блеск на проклятого конторщика, уж вы скажите только его фамилию, ни одного стекла целого не останется, вот ей-богу, Сан Саныч...

Сан Саныч молчит.

А поодаль, несколько впереди, едет верхом на лошади Милиция Николаевна. Нежаркое солнце греет спину. Поскрипывает колесо телеги. Камыш по обочинам не шевелится: стоит полное безветрие. Зачем, зачем она уезжает?

Лошадь остановилась на пригорке, притомившись, и Милиция Николаевна обернулась. Я глаз не сводил с нее, да разве усмотришь что-нибудь впереди, если небесная голубень сиеет так ослепляюще? Мне лучше бы подойти поближе к лошади, на которой едет Милиция Нико-

лаевна. Мне многое надо бы сказать Милиции Николаевне, но я молчу. Боже мой, я всегда молчу, как убитый, когда мне надо очень много сказать!

Я хочу научиться у неё быть таким же красивым, как она.

Хочу идти рядом с ней, держась за стремяна.

Идти в Италию, на золотые острова, в чудесный Париж — куда угодно! И вот она уезжает насовсем, даже не догадываясь о том, как трудно мне будет без неё. Так же трудно, как жить ни на что не надеясь; никуда не стремиться; никого не любить.

Я иду дальше всех. Уезжающие — далеко впереди, а провожающие далеко сзади. Иду один по пустынной дороге.

Навстречу мне движется, петляя, небольшой вихрь. Он винтом проходит мимо меня, подбирая с дороги соломинки и бумажки.

Никого больше нет в степи.

Моя мечта уехала.

Колонисты вернулись домой.

Летучий прах и пыль унеслись вместе с вихрем и только белая-белая, одинокая бумажка беспомощно трепещет в воздухе: переворачивается, ныряет, поднимается, снова переворачивается.

Тишина. Ни ветерка, ни вихря — ничего нет. Только трепыхается в небе бумажка.

Почему она так долго не падает? И зачем я стою здесь, в степи? Отчего так трудно и больно живу на свете?

Синее небо.

Серебристые метелки камыша.

Белая бумажка — как раненый голубь.

Разноцветье...

Семен ШМЕРКИН

Когда цветет миндаль

(Рассказ)

Амон знал, что его сын Мурад находится с отарой за горой Тутбулон, у Желтого камня, потому что в месяце хамал нигде не бывает лучшей травы, чем на южном склоне Тутбулона. Но какая-то тревога забралась ему в душу и не может найти он себе места. Вчера собирался навестить сына, а жена стала отговаривать. И теперь он жалеет, что послушался ее.

На рассвете он оседлал коня, положил в полосатый хурджин лепешек, соли, три пачки зеленого чая и молча уехал. В дороге плохие предчувствия рассеялись. Он даже подумал, что мог бы не спешить.

Чем выше поднимался Амон в гору, тем полнее вставало перед ним огромное красное солнце, от него тянулись навстречу багряные лучи, будто хотели пощупать Амона, и все кругом было радостное, свежее—как всегда по утрам.

Амон думал о сыне. В будущем году его надо женить. Давлятбиби уже присмотрела для Мурада невесту. Потом Амон почему-то вспомнил про курбаши Рахимбея. Курбаши приезжал в кишлак и говорил, что джигиты эмира воюют за веру. Но зачем же они грабят дехкан, бесчестят женщин? Разве это угодно богу? Нет. Мурад не пойдет на службу к Рахимбею.

Так ехал он со своими мыслями—то радостными, то невеселыми, пока закатное солнце не положило на гору, под копыта лошади, большую тень.

Потемнела трава и цветы утратили краски, когда Амон спустился к Желтому камню. Предчувствия не обманули его. Мурад лежал на кошме и стонал. Услышав голос отца, он скривил губы в подобие улыбки.

Амон согрел в котле овечье молоко и дал сыну напиток. Мураду стало легче. Но после захода солнца у него начался кашель с кровью.

Что делать? Мурада мог спасти только один человек—домулло Акобир. Он знает заклинания от всех недугов...

Амона не остановили ни усталость лошади, ни ночь, ни отара, которую надо было оставить на произвол судьбы. Он посадил Мурада впереди себя и двинулся в обратный путь.

Нежно и крепко обхватив его рукой, Амон ехал, прислушиваясь к звукам ночи и неровному дыханию сына. Иногда Мурад стонал. Амон останавливал лошадь, переждал минуту-две и ехал дальше. Он знал много молитв и, словно боясь, что не успеет высказать свою просьбу

всемогущему, торопливо повторял их одну за другой — привычные, и в то же время непонятные, на чужом языке слова.

И вдруг он заметил, что далекий и волнующий смысл этих слов ясен ему до конца, он понимает их и всегда, наверное, понимал вот так же хорошо, как сейчас. Он читал молитвы про себя, в уме, но слова звучали громко, словно в горах не было других звуков, кроме слов, с которыми он, Амон, обращался к аллаху.

Неожиданно Мурад откинул голову и тихо сказал:

— Отец, я не могу дышать.

Амон не хотел этому поверить. Словно пробуждаясь от сна, он в испуге заговорил:

— Сынок, сынок, ты слышишь меня?

Вместо слов сына он услышал, как фыркает лошадь, как ёкает у неё селезёнка и с ожесточением стал стегать коня камчой. «Может, теперь уже не нужно спешить?» — подумал он, когда лошадь стала равнодушной к ударам камчи.

Поддерживая Мурада, Амон слез с лошади, и она тут же, словно только и ждала этого момента, тяжело рухнула на землю. Амон взял на руки сына и понес его дальше, то поднимаясь в гору, не чувствуя тянувшихся к нему солнечных лучей и не видя солнца, то спускаясь вниз, по осенней тополевым светом тропе. Он забыл, что ему, должно быть, трудно и надо бы отдохнуть.

Уже в конце пути он опять вспомнил: жив ли Мурад? И почувствовал, как жарко, как ослепительно-равнодушно сияет солнце.

— Сынок, ты слышишь меня?

Не получив ответа, он закричал:

— Мурад, ты слышишь меня?

С противоположной стороны горы ему ответило эхо.

Амону вспомнилось почему-то, как его лошадь, прежде чем упасть, укоризненно и бессильно мотнула головой, как потом он случайно наступил ногой на что-то мягкое, живое. Неужели птичье гнездо? Правильной ли дорогой он шел?

Амон стоял на коленях перед умершим, и уже не крик, а глухой бесконечный стон вырывался из его груди.

Кибитка Амона, похожая на улей, стоит на склоне горы на неровном, как кусок лепешки, клочке земли. С трех сторон её секут дожди и ветры, поджаривает солнце, поэтому она желтая и рябая.

Недалеко было кладбище. Криво и одиноко торчал в стороне от могильных холмиков миндаль. Был месяц хамад, и миндаль цвел. Под ним и похоронил Амон своего сына.

Шли годы. Они выткали серебром курчавую бороду Амона, толстыми извилинами легли на его широком лбу. Дети больше не рождались в семье Амона, и он становился угрюмым и молчаливым. Постарел и скорчился миндаль над могилой Мурада.

Однажды, задумчиво глядя на дальние горы, Амон сказал жене:

— Мы посадим возле кибитки сад в память о нашем Мураде.

После смерти сына Давлятбиби часами просиживала в углу своей комнаты, обескровленными губами шепча молитву и перебирая четки. Она стала тихой и замкнутой. Не взглянув на мужа, женщина равнодушно сказала:

— На камнях сад не вырастет.

Амон ей не ответил. Но на другой день, на рассвете, он отправился с мешком и лопатой к реке. Он решил наносить на свой участок землю, слобрит её илом и посадить деревья.

Нелегко подниматься на гору с мешком земли на спине. Но Амон вырастит сад. И спустя многие годы, когда его самого уже не будет, сюда придут другие люди и скажут: «Не напрасно жил человек».

Когда горка земли заметно выросла, ему стала помогать Давлятбиби. Он не протестовал. И из глаз жены постепенно стала исчезать тихая скорбь.

К осени площадка вокруг кибитки Амона покрылась толстым слоем почвы.

И снова шли годы. Люди кишлака Андароб объединились в колхоз. Амон стал артельным чабаном. Чабан любит солнце, горы, траву. Им поёт он свои песни, им рассказывает свои думы. У чабана много невысказанных дум.

Каждый месяц хамал Амон пригонял отары к Желтому камню на Тутбулоне и пел:

Годы, годы молодые,
Вы реке подобны.
Ни догнать вас, ни вернуть
Я не в силах, годы...

А Желтый камень слушал его и молчал, как старый мудрец.

Летом Амон угонял отару дальше, а верная Давлятбиби, да продлит её жизнь, таскала из реки воду, поливала старый, пустивший глубокие корни, сад. Поэтому кибитка Амона и густая зелень возле нее напоминали путнику увиденное в древней сказке.

Однажды в Андароб пришли какие-то люди. Они что-то искали и, прежде чем уехать, по всему склону горы нарыли кучи земли. А ранней весной в кишлаке заговорили о том, что в Андароб придет большая дорога. Вскоре приехали новые люди и по всей горе начали забивать кольшки. Забили они их и в саду Амона.

Старик не сразу понял, зачем это. Но ему объяснили: по кольшкам будут вести дорогу.

— А как же мой сад?— спросил Амон у молодого человека, который одним глазом смотрел в трубку, привинченную к высокому треножнику.

Не отрываясь от трубки, молодой человек сказал:

— Прощайся, папаша, со своим садом.

Нет, с этим мальчишкой Амон ни о чем не договорится. Лучше он пойдет к председателю колхоза и поговорит с ним. Председатель поймет и посочувствует. Как бы там ни было, Амон не даст рубить деревья.

Председатель встретил Амона улыбкой, усадил в кресло и стал подробно расспрашивать о здоровье. Амон отвечал на приветствия быстро и рассеянно. И чем любезнее был председатель, тем подозрительнее становился старик.

— В моем саду,— сказал он угрюмо,—забили колья. Ихний начальник говорит, что по саду должна пройти дорога.

Лицо председателя стало задумчивым и усталым. Дорога нужна и колхозу, и людям. Она в короткое время преобразит жизнь в Андаробе, тем более, что здесь начнется большое строительство. Но как это все объяснить старику, для которого сад стал святыней?

Он вышел из-за стола и долго ходил по кабинету. В дверь заглянул секретарь. Председатель раздраженно сказал:

— Подождите!— и когда дверь захлопнулась, продолжал:— Что поделаешь? Я не вижу другого выхода...

Амон угрюмо молчал. Потом, устало упираясь в подлокотники кресла, встал и, не прощаясь, вышел из кабинета.

Идя кишлаком, Амон видел, как дети окружили людей, приехавших делать дорогу, как заглядывали по очереди в трубку на высоком треножнике (сгорела бы она раньше, чем её придумали), и на их лицах ничего нельзя было заметить, кроме радости.

Все колхозники и старики тоже помогали прокладывать в горах

дорогу. Амон не пошел. Но взрывы приближались с каждым днем, сотрясая горы и поднимая в небо столбы пыли. Там, где была гора, лежали разорванные на куски большие камни.

Дорога, как змея, приближалась к саду. По вечерам усталые люди возвращались в кишлак. Молодежь кланялась Амону, а старики подходили к нему, здоровались и, посидев с полчаса, уходили. Но ни один из них ни слова не говорил о саде.

Белые стаи цветов кружились вокруг старых яблонь. Скоро их должны срубить. И все-таки вместе с Давлятбиби он по утрам таскал из реки воду, поливал и окапывал деревья. Надежда не покинула Амона и тогда, когда какие-то невиданные машины остановились перед самой кибиткой, чтобы наутро начать свое дело.

Всю ночь Амон не спал. Он ходил по саду, затвердевшими руками ласково гладил деревья, вздыхал, словно перед ним были живые существа, которые могли его понять. Но деревья стояли тихо: им было все равно, что с ними сделают. Амон подошел к яблоне, которая ему была дороже других, потому что каждый год зацветала первая и еще потому, что ствол ее искривился в сторону могилы сына и яблонька словно кланялась ей. Амон долго стоял под этим деревом.

В небе, как огоньки в далеком кишлаке, светили тусклые звезды. Но их света хватило бы, чтобы увидеть, как старый человек стоит, обняв дерево и прижавшись к нему щекой.

Утром возле кибитки Амона собрался весь кишлак. Никто не решился сказать старику, чего они ждут. Даже тот мальчишка, что забивал колышки в саду, отвернулся, когда старый Амон вышел с топором в сад, подошел к дереву, постоял, посмотрел на ветку, на прошлогодний засохший лист, сорвал его, размял между пальцами, рассматривая, нет ли там вредителя, и когда убедился, что есть,—аккуратно положил опасный листок в коробочку. Так он делал всегда. А зачем он это делает сейчас?

Амон пошел дальше, словно раздумывая, откуда начинать. Он услышал, как плачет в кибитке Давлятбиби. «Надо скорее кончать»,—подумал Амон. Плач жены раздражал его. Он покосился на топор, точно убеждался, с ним ли он, потрогал лезвие, но так и не смог замахнуться, отошел от дерева и протянул топор соседу, такому же, как он, старику:

— Брат, я не мог этого сделать. Помогите мне.

Бобо Карим машинально взял из рук Амона топор и, как бы спрашивая совета у людей, посмотрел по сторонам. На мгновение он встретился взглядом с молодым человеком, который командовал строительством дороги. Тот подошел к Бобо Кариму и, в свою очередь, взял из его рук топор. Все, кто был здесь, почувствовали неловкость. Им было бы легче, если бы Амон начал ругаться, протестовать. Но он этого не сделал. Он молчал.

Между тем молодой человек сказал, пробуя лезвие топора:

— А что, если мы сделаем насыпь и обойдем сад?

Амон и сам думал об этом. Но легко сказать: сделать насыпь высотой в два человеческих роста. Он молчал, и казалось, ему было безразлично, что они решат. Люди всей толпой подошли к самому краю тропы, где начинался уклон. И каждый подумал: немалых трудов стоит эта насыпь. Но все в один голос сказали:

— Что же, её нетрудно сделать.

Амон не поверил своим ушам. В глазах у него блеснули слезы. Потрескавшиеся губы шевелились.

Наверное, он что-то говорил.

Дорогой Мухаммеджан Вахобович!

Редакция, литературный актив и многочисленные читатели журнала «Гулистон» сердечно поздравляют Вас в день Вашего славного шестидесятилетия.

Мы рады приветствовать Вас, одного из старейших поэтов советского Таджикистана, вдохновенного певца народного счастья, одного из создателей Союза писателей Таджикской республики.

Народ любит Ваши стихи, яркие и взволнованные. Ваши песни поют наши лучшие певцы с эстрады, во всех уголках Таджикистана. Ваши песни исполняют народные хоры под аккомпанемент национальных инструментов. Ваше проникновенное поэтическое слово — слово человека, глядящего на мир вечно молодыми глазами. Пусть никогда не остынет в нем присущий Вам молодой накал вдохновения!

Соцветие ярких талантов на нашей земле было вызвано к жизни Великой Октябрьской революцией. В те незабываемые годы был рожден Ваш талант. Первые революционные стихи, передававшиеся из уст в уста в кишлаках и городах горного Таджикистана, — были Ваши революционные стихи.

С тех пор прошло более сорока лет, и за эти годы Вы всегда были в первых рядах Ваших современников, устремленных в будущее. Вы умели воссоздать силой слова огромность удивительных событий, происходящих в нашей стране. Вы рассказали в своих стихах и поэмах о родном народе — строителе Коммунизма, о труде и борьбе, о величайших достижениях человеческой мысли.

Необыкновенна Ваша биография, биография верного сына Коммунистической родины.

В годы Великой Отечественной войны Ваше поэтическое слово вдохновляло советских бойцов, защищавших на фронтах свободу и независимость всех народов мира.

Вы воспели героизм и отвагу непреклонных защитников Ленинграда, стойкость которых будет постоянно служить примером для всех времен и народов.

Герои кинофильма «Сын Таджикистана», поставленного по Вашему сценарию, воодушевляли советских воинов на новые подвиги на фронтах Отечественной войны. Многим бойцам довелось смотреть этот героический фильм буквально под огнем врага.

В своей большой переводческой работе Вы познакомили свой народ со многими литературами мира. Впервые в Ваших переводах таджикский читатель познакомился с бунтарским словом Шиллера. Вы сумели донести до сердца читателей очарование украинской поэзии и поэзии Белоруссии, Молдавии, великой России. Тонкий лиризм Пушкина, смелое слово Некрасова, яркую публицистику Гафура Гуляма, воинствующий гуманизм Владимира Маяковского.

В Вашем переводе народ Таджикистана поет гимн международного пролетариата — и наш партийный гимн — Интернационал.

От всей души желаем Вам больших творческих успехов!

Редколлегия журнала „Гулистон“



К 60-летию со дня рождения Мухаммеджана Рахими

Мухаммеджан РАХИМИ

ВЕСЕННЕЕ

Я много лет живу, друзья,—
все так же в звездах небосвод,
В который раз весна моя
веселый праздник в сердце льет!
Счастливым зовом опьянен,
иду в весну, в людей влюблен,
А солнце юное, как я,
по небу вслед за мной идет,
В герб славной родины моей
светило жизни вплетено,
Пусть гордый герб моей страны
народы к радости ведет!
Вода и солнце — кто из вас мудрец,
и живописец — кто?
Рассыпавший на шар земной
ковер невиданных щедрот.
Я слышу песен звучный хор,
ручьи журчат с отрогов гор,
Раскрылись листья и цветы,
янтарным соком блещет плод,
Растут гиганты-города,
поют электропровода,
Над Волгой блещет факел звезд —
кругом строительство идет.
Отваге юных вновь — дерзать
в труде, творить и побеждать.
Я вздумал подвиги считать,—
бсюсь, собьюсь: безмерен счет!
Я потрудился в день весны,
я начал много важных дел
Я написал стихи, вместив
в десятки строк огонь и лед;
Я видел в них твоё лицо,
о, многоликая весна,
Тебе, волнуясь, написал
и был своей работой горд.
Я вышел рано поутру,
навстречу золотой волне

Меня манил и ослеплял
твоей листвы зеленый свод.
Бежали девушки толпой
и прятались в густую тень
А ветер мчался сквозь сады
и нес прохладу горных вод
О, девушки моей страны,—
цветы сияющей весны,
Пусть ваша юность
в цветниках
тюльпаном пламенным цветет —
Ты с нами заодно, весна!
Ты трудишься, не зная сна,
Вновь небывалый урожай
твоя работа принесет.
Слагай же песни, Рахими,
напевы звучных строк лови
В твоих ликующих стихах
сегодня вновь весна поет!

Перевела Е. Петрова

Саадат Хасан МАНТО

Три с половиной анны

(Рассказ)

А не буду рассказывать вам, почему стал убийцей. Это очень длинная история. Но так как вы заговорили сейчас о преступлении и наказании, то вам будет не безынтересно узнать мнение человека, уже побывавшего в тюрьме. Я согласен с господином Манто, что тюрьмы не могут искоренить преступлений. Но ведь эту прописную истину повторяли столько раз, что ее принимают за шутку. Существуют тысячи исправительных методов, в том числе наручники и позорящие человечество кандалы. Эти, не очень удобные при носке «части туалета», я однажды уже надевал в соответствии с положением закона.

Высказав всё это, Разви посмотрел на меня и улыбнулся. Его толстые негритянские губы насмешливо скривились, а глаза, глаза убийцы, странно сверкнули. Он сидел рядом с нами и пил кофе.

Мы вспомнили все, связанные с тем убийством, события. Не предоставив в распоряжение судей достаточное количество улики и потому выйдя на свободу, Разви тем самым сделал очень большое и важное дело—он спас себя и своих дружков от грозившей им всем петли. Он пришел к нам в тот самый день, когда его выпустили из тюрьмы. В изысканно вежливой форме он обратился ко мне:

— Простите, господин Манто, я не писатель, однако я всё же могу кое-что рассказать вам,— затем он добавил:— Меня зовут Садик Разви. Я причастен к убийству, которое произошло на Линд базаре.

В своё время я читал сообщение об этом убийстве, и когда Разви назвал своё имя, в голове у меня тотчас же пронеслись все подробности этого происшествия. И вот теперь мы с Разви разговаривали о том, помогают ли тюрьмы уничтожить преступность. Лично мне казалось, что в этом вопросе мы топчёмся на одном месте, и когда Разви произнес свою фразу: «эту прописную истину повторяли столько раз, что ее принимаешь за шутку», мне показалось, будто он разгадал мои собственные мысли.

Кончив пить кофе, Разви посмотрел на меня своими маленькими глазками и сказал очень серьёзно:

— Господин Манто, а что такое преступление и что такое наказание? Я очень много думал по этому поводу. Я не считаю себя большим знатоком в этом вопросе, однако знаю, что сам по себе человек никог-

да не совершит преступления, если бы этому не способствовали условия жизни.

— Вы это верно подметили,— сказал мимоходом Насыр.

Разви попросил ещё кофе и обратился теперь уже к Насыру:

— То, что я сказал здесь, я почерпнул из собственных наблюдений, хотя тема эта имеет длинную историю. Мне кажется, что доктор Хьюго, знаменитый французский новеллист,— возможно, национальность его я путаю, но вы-то его, вероятно, хорошо знаете—очень много писал о преступлении и наказании. Я помню наизусть некоторые строки из его произведений,—сказав это, он опять обратился ко мне:—Господин Манто, вы, кажется, переводили что-то из доктора Хьюго, да? Так вот, ту общественную лестницу, которая ведёт человека к преступлениям и несчастьям, нужно уничтожить. Я всё время думаю, что это за лестница, и сколько в ней ступенек. Господин Манто, правительства делают разные вычисления, ведут различные подсчёты, так почему бы им не определить число этих ступеней? Вот, к примеру, я совершил убийство. Но какая ступень этой общественной лестницы ведёт к убийству? Правительство меня выпустило из-за недостатка улик, но ведь у кого-то должен же я попросить прощения за совершённое преступление?

Мы с большим вниманием слушали Разви. Внешне он казался небреженным, однако речь его говорила о его большой культуре. Я задал ему несколько вопросов, однако, желая послушать дальше, старался не перебивать его.

Принесли ещё кофе.

Он отпил несколько глотков и продолжал:

— Вам может показаться, что я несу невообразимый вздор. Но я всё время думаю об одном человеке, метельщике, который вместе со мной сидел в тюрьме. За то, что он украл три с половиной анны, ему дали год заключения.

— Только за то, что он украл три с половиной анны?—спросил удивленно Насыр.

— Да, только за то, что он украл три с половиной анны, которые ему не достались, так как он был арестован,— холодно ответил Разви. — Эти деньги хранит казна, а метельщик Пхагу довольствуется тюремным пайком. Вполне возможно, его снова арестуют, когда он перестанет получать этот паек и выйдет на свободу. Всё это, господин Манто, крайне удивительно, но в этом мире всё может быть.

— Ты вспоминал слова метельщика Пхагу?—спросил его Насыр.

— Да, сказал Разви, вытирая усы после кофе.—Слова того самого метельщика, которого все мы считали самым честным малым. Житейские мнения, как видите, часто расходятся с мнением закона. Я лично еще не встречал такого добросовестного человека, каким был Пхагу. Он, конечно, украл те три с половиной анны, да и сам честно сказал об этом на суде.

Он заявил тогда: «Я украл — чего же тут оправдываться? Я два дня ничего не ел, поэтому мне пришлось запустить руку в карман честного портного и вытащить оттуда пять рупий. Господин, я и раньше воровал. Однажды я вытащил у одной госпожи десять рупий, в другой раз я украл у одного депутата из дома дорогую игрушку, так как у моего ребёнка было воспаление лёгких, а доктор требовал за лекарство много денег. Господин, я вам говорю правду, я не вор. Условия вынуждали меня заниматься воровством и привели на скамью подсудимых. Я знаю крупных воров, которые до сих пор еще на свободе. Господин, сейчас у меня нет ни детей, ни жены, и я, извиняюсь, что имею живот. Живот у меня, конечно, еще есть. Если же я лишусь его, то придёт конец всем моим неприятностям. Помилуйте меня, господин.»

Но его не помиловали и осудили на год тяжёлых работ.

Разви рассказывал обо всем этом очень просто, без всякой вычурности и рисовки. Речь его была плавной и очень спокойной. Я всё время молчал, курил сигарету за сигаретой и слушал Разви.

— Вы честно и откровенно рассказываете о метельщике Пхагу?— вновь спросил Насыр.

— Да, честно,— ответил Разви и закурил папиросу.— Я не знаю,— продолжал он,— что означает честность с точки зрения закона, но я знаю только, что метельщик Пхагу украл свои три с половиной анны честно. Я не знаю, почему люди понимают эту честность только с одной стороны. Я всё чаще и чаще начинаю задумываться над тем, что понимать под добром и злом. Одна и та же вещь для вас может показаться хорошей, а для меня плохой. В одном обществе эту вещь принимают за хорошую, а в другом—за плохую. Мы, мусульмане, считаем дурной привычкой отращивать под мышками волосы, а сикхи, например, свободны от такого предрассудка. Если отращивание этих волос действительно является предосудительным делом, то почему тогда бог не наказывает таких людей? Бог, если он есть, зря создал на земле суды и кандалы. Эти вещи ему не следовало доверять людям.

Это заявление Разви и простота, с которой он рассказывал всю эту историю, произвели на меня большое впечатление. Его папироса давно погасла, вероятно в ней кончился табак, так как он несколько раз пытался её зажечь, и когда это ему не удалось, выбросил её и снова обратился ко мне:

— Господин Манто, я должен сказать, что вряд ли забуду когда-нибудь метельщика Пхагу. Вы скажете, что это привязанность. Но видит бог, в этом нет ни капли привязанности. Он не был моим другом, хотя нет, он был моим другом, что и доказал несколько раз на деле.

Разви вынул из кармана новую папиросу, но она была вся измята. Я протянул ему сигарету.

— Спасибо, господин Монто,— сказал он,— простите, что я говорю вам такие глупости.

Я прервал его:

— Господин Разви, в данный момент я для вас не Манто, а просто Саадат Хасан. Вы можете продолжать разговор, я вас очень внимательно слушаю.

Разви улыбнулся. В его глазах сверкнул хитрый огонёк.

— Вы очень добры ко мне,— сказал он и вновь обратился к Насыру: — Так о чём я тут вам рассказывал?

— Вы хотели рассказать о честности Пхагу,— напомнил я.

— Ах, да! — вспомнил Разви, прикуривая.— Господин Манто,— продолжал он,— с точки зрения закона Пхагу был, конечно, самым отъявленным вором. Помнится мне один случай в тюрьме. Мой товарищ по преступлению Джордж однажды передал с Пхагу 20 папирос, который сумел пронести их мимо часового в камеру. Поначалу, когда я ещё плохо знал Пхагу, я подумал, что этот негодяй непременно утаил несколько штук. Но позже я узнал, что ошибался. Он был простой метельщик. Как сейчас помню: он передал тогда мне все попиросы, а потом нерешительно попросил дать ему одну. И я дал ему только одну! — Разви так тряхнул головой, как будто питал сам к себе отвращение.— Как и тогда, в тюрьме, я чувствовал себя так тяжело, как будто я донёс на кого-нибудь,— сказал он.— Но Джордж,— продолжал Разви свою мысль,— наоборот, вёл себя совершенно свободно. Передавая взятки, он не чувствовал каких-либо угрызений. В тюрьме в качестве взятки имели хождение разные вещи: одежда, мыло, папиросы и, конечно, деньги.

Метельщику Пхагу оставалось несколько дней до выхода на свободу, когда он в последний раз принёс мне папиросы, переданные Джорджем. Он сказал:

— Бабу, я скоро попаду сюда опять. Голодному ничего не остаётся делать, как воровать. Вы очень добры ко мне, и даже даёте папиросы. Джордж восхищается вами.

Слушая всё это, Насыр как бы про себя проговорил:

— И такого человека посадили только за то, что он украл три с половиной анны!

Разви отпил глоток кофе и мрачно добавил:

— Да, только за то, что он украл три с половиной анны, которые теперь хранятся в казне. Бог знает, в чей карман они теперь попадут.

Разви отпил ещё глоток кофе.

— Итак, господин Манто, я продолжаю. До освобождения Пхагу оставался всего один день. Мне в то время крайне нужны были десять рупий, чтобы дать взятку часовому. С большим трудом я достал карандаш и бумагу и написал Джорджу записку, в которой просил его любым способом прислать мне требуемую сумму. Записку эту я передал с Пхагу, который, кстати сказать, не был обучен грамоте. Вечером он встретился со мной и передал записку от Джорджа, в которую была вложена красная пакистанская банкнота в десять рупий. Джордж писал: «Дорогой Разви! Передаю тебе эти 10 рупий с помощью одного отъявленного вора. Молю бога, чтобы ты получил эти деньги, так как он уже отбыл свой срок и завтра выходит на свободу».

Я прочёл записку, посмотрел на метельщика Пхагу и улыбнулся, думая при этом: за то, что он украл всего лишь три с половиной анны, ему дали один год тюрьмы, а какое бы он получил наказание, если бы украл целых десять рупий?

Сказав это, Разви отпил последний глоток кофе и, не попрощавшись, вышел из кафе.

Перевел с урду В. Е. Иванов

Масуд МУЛЛОДЖАНОВ

Литературная критика и воспитание молодых писателей

Испокон веков в таджикской литературе живёт прекрасная традиция, переходящая от поколения к поколению. Признанные мастера литературы и искусства передают свой опыт и даже «тайну» своего мастерства своим ученикам и последователям. Эта прекрасная традиция живёт в нашей литературе с древнейших времён. Но наибольшего расцвета достигла она после победы Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей самые широкие возможности для развития народного творчества. И теперь развитие таджикской литературы и искусства, воспитание творческой молодёжи является не личным делом отдельных писателей или поэтов, а делом нашего правительства, родной Коммунистической партии, делом всего народа.

«Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать», — говорил Владимир Ильич Ленин, и партия, следуя этому завету вождя, уделяет большое внимание воспитанию молодых талантов.

Эти ленинские слова нашли свое отражение в речи Н. С. Хрущёва на III-ем съезде писателей: «... Молодежь — будущее нашей литературы, воспитание молодых литераторов является первейшей и важнейшей задачей писательских организаций и всего советского общества».

Особое внимание партия уделяет литературной критике и её роли, как в развитии литературы, так и в воспитании молодых литераторов. «Повседневный глубокий разбор литературных произведений — важнейшее условие успешного развития нашей литературы», — говорил Н. С. Хрущёв на III-ем съезде писателей. Эта мысль была развита в речи товарища Суллова на встрече руководителей партии и правительства с представителями советской интеллигенции 17 июля прошлого года:

«Мне хотелось бы сегодня сказать о бережном и уважительном отношении к таланту и подчеркнуть роль художественной критики в этом отношении», — говорил тов.

Суллов. — Критика должна быть требовательной и принципиальной, исходить из интересов народа, а не из приятельских и групповых соображений. Но критика должна быть заботливой и внимательной, ясно понимать реальные трудности, которые встают на пути художника, уметь видеть и радоваться тому, что ему удалось сделать. Наряду с осуждением плохого необходимо поддерживать все доброе, что есть в литературе и искусстве».

В этих словах М. А. Суллова выражена ленинская забота партии о литературе.

С самого начала своей литературной деятельности основоположники таджикской советской литературы Садриддин Айни и Абулькасым Лахути обращали исключительное внимание воспитанию молодых писателей. С первых лет революции устод Садриддин Айни и Абулькасым Лахути, несмотря на острую классовую борьбу и яростное сопротивление контрреволюции, вдохновенно работали на поприще литературы, создавали замечательные произведения, пронизанные духом современности, и заботливо растили писательскую молодёжь, щедро отдавали ей весь свой богатый литературный опыт, все свои организаторские способности. Они были первыми учителями и первыми критиками молодых таджикских литераторов. Внимательно читал С. Айни первые, зачастую еще слабые произведения молодых литераторов. Искренне радовался он, если встречал в стихотворении или в рассказе интересную ситуацию, новый образ, свежее сравнение, поэтичную строку или даже просто хорошую фразу. Он вызывал к себе молодого автора, беседовал с ним, давал ценные советы, а затем внимательно следил за его дальнейшим творчеством. Эта отеческая забота С. Айни дала прекрасные плоды, он воспитал целую плеяду талантливых писателей, имена которых известны сейчас всему миру.

Председатель Союза писателей Таджикистана М. Турсун-заде, отмечая благородную роль С. Айни в деле воспитания молодых таджикских писателей, неоднократно говорил, что наши таджикские писатели, испытавшие на себе отеческую заботу С. Айни, обязаны заботиться о новом поколении таджикских писателей так же, как С. Айни заботился о них самих. На IV-м съезде писателей он сказал:

«Любая река, какой бы могучей и полноводной она ни была, без ежегодного пополнения мелеет и засыхает. Вот так же — без постоянного притока нет полноводья и движения в литературе. Мы должны постоянно заботиться о пополнении своих писательских рядов, выращивать молодежь. Это — священная задача, поставленная перед нами партией и народом».

И надо прямо сказать, так и поступает старшее поколение таджикских писателей и поэтов. Не мало времени и сил тратят они на воспитание подрастающего поколения. Они вырастили целую плеяду молодых талантливых писателей и поэтов. Гафар Мирзоев, П. Толис, Фазлиддин Мухаммадиев, Файзулло Ансори, Абдумалик Бахори, Болта Ортыков и многие другие не смогли бы без помощи своих старших товарищей так уверенно выступить на литературную арену, выработать свой индивидуальный почерк, обрести свое собственное творческое лицо. Их творческие успехи показывают, что эти молодые писатели и поэты заняли свое место в литературе. В их произведениях живут, борются и побеждают наши современники, живые люди со своими достоинствами и недостатками, со своими мечтами, планами и свершениями. Без сомнения, эта талантливая молодежь внесет свой вклад в развитие таджикской литературы и дополнит галерею образов, созданных нашими мастерами литературы, образами наших современников — героев семилетки.

В последние годы в литературу пришла большая группа начинающих поэтов, таких как: М. Каноатов, Убайд Раджаб, А. Шарифи, А. Бабаджанов, А. Атабаев, М. Хайдаршо и другие.

И это очень радостно. Ведь именно они, талантливая молодежь, — будущее нашей литературы. Но эти молодые силы надо воспитывать, они еще нуждаются в помощи старших товарищей по перу. «Ведь молодежь, как бы талантлива она ни была, не может развиваться сама, без помощи, поддержки старших товарищей-писателей, без изучения классиков и без идейного воспитания», — говорил Мирзо Турсун-заде.

Развивая дальше эту мысль, приведем еще одну выдержку из доклада Мирзо Турсун-заде на IV-м съезде писателей Таджикистана: «Часто мы, старшие писатели, не сразу замечаем молодой талант. А если даже и заметим, то не сразу откликнемся, в то время, как молодому литератору именно на первых шагах нужна помощь, нужна верная оценка».

Говоря обо всем коллективе писателей, Мирзо Турсун-заде подразумевает не только поэтов и прозаиков, но и критиков, и ли-

тературоведов, которые по роду своей деятельности обязаны в первую очередь обращать внимание на воспитание молодых литераторов.

Кстати, мы часто говорим: «Литературная критика», имея в виду статьи и рецензии, журналы и газеты, печатающие эти статьи, и государственное издательство, и работников отделов литературы и искусства, критики и библиографии, и нашего требовательного советского читателя. Мне хотелось бы всю совокупность этих организаций и этих людей назвать «школой мастера» для молодых литераторов. Ведь Государственное издательство ежегодно издает много произведений молодых писателей, критики пишут рецензии, работники отделов критики и библиографии эти статьи редактируют и печатают, а читатели читают эти статьи.

Особенно большое внимание уделялось творчеству молодых писателей в последние годы. В 1958 году у нас в республике проходил пленум правления СП Таджикистана, посвященный вопросам творчества молодых писателей, речь об этом шла и на IV-м съезде; ежегодно устраивались курс-конференции молодых писателей, на которых подробно разбиралось их творчество. Этот возросший интерес к творчеству молодых не случаен. За последние годы на литературной арене появилось много новых имен. Причем, произведения молодых литераторов, как по своим художественным, так и идейным качествам, заслуживают самого пристального внимания. Только за последние два-три года были опубликованы повести П. Толиса «Лето», очерки Ф. Мухаммадиева, повесть Б. Артыкова «Каникулы», стихи и поэмы Гафара Мирзоева «Асрор» и «Венец счастья», поэма А. Бахори «Вступление в жизнь»; пьесы Ф. Ансори «Экзамен», «Любовь и жизнь», стихи М. Каноата, новые стихи поэтессы Г. Сулеймановой, детские рассказы А. Шарифи и многие другие.

При той заботе, которую проявляют о литературной молодежи партия и правительство республики и наши ведущие прозаики и поэты, эти успехи естественны. К сожалению, как мне кажется, профессиональная литературная критика не оказывает активной помощи молодым литераторам. Чтобы не быть голословным, давайте посмотрим, что же сделано нашими критиками в этом направлении.

За последние годы деятельность наших критиков и литературоведов заметно оживилась. Свидетельством этому могут служить серьезные исследовательские работы покойного академика Э. Э. Бертельса, академика А. Мирзоева, профессора А. Н. Болдырева, Ш. Хусейн-заде, Х. Мирзо-заде, С. Табарова, Н. Масуми, М. Шукурова, Р. Ходи-заде, два тома «Очерков советской таджикской литературы», некоторые монографии, многие критические статьи. На страницах периодической печати все чаще и чаще появляются интересные статьи и рецензии на книги молодых писателей. В них

поднимаются серьёзные вопросы и связанные с ними проблемы современной таджикской прозы и поэзии. Но если мы внимательно прочтём эти статьи, то убедимся, что они далеко не всегда отвечают требованиям, предъявляемым к нашей критике сегодняшним днём.

Наша критика и литературоведение должны сыграть важную роль в пропаганде и воспитании коммунистического мировоззрения, в выработке правильных эстетических вкусов. Постановление ЦК обязывает нас коренным образом изменить характер нашей критики. Этот коренной поворот должен заключаться в том, что наша литературная критика должна как можно теснее быть связанной с жизнью народа, с практикой коммунистического строительства. В нашей партийной пропаганде, а это относится и к литературной критике, остается все еще непреодоленным до конца отрыв от жизни, от практики и от строительства коммунизма. В чем выражается этот отрыв? Во-первых, в том, что наши критики в анализе художественного произведения часто исходят из весьма субъективных оценок, а не из тех проблем, которые ставятся жизнью. У нашей критики нет хорошего взгляда в будущее. А поэтому и правильного видения сегодняшнего.

А ведь только такой угол зрения позволяет увидеть не выдуманное, а действительные противоречия нашей сегодняшней жизни, не высасывать из пальца идеального героя или противоположного ему злодея, а вскрывать и показывать становление нового характера, новых свойств советского человека в ходе изменения общества, в ходе строительства коммунизма.

Во-вторых, наша литературная критика недостаточно связана с жизнью и в том отношении, что она, по существу, обходит специально эстетические проблемы, проблемы художественного мастерства и поэтому не оказывает достаточного воздействия ни на писателей, ни на читателей. Критические пулеметы часто стреляют холостыми патронами.

Встречаются у наших критиков спорные, а иногда и неверные положения. Нам кажется, что и писателей, о которых идёт речь в этих статьях и рецензиях (будь то рецензии положительные или отрицательные), далеко не всегда может удовлетворить анализ их творчества. Не так уж часто могут найти они в этих статьях конкретный совет, убедительный ответ на волнующие их вопросы. Вряд ли могут настоящему помочь им общие рассуждения критика о значении избранной ими темы или пересказ сюжета, который часто, вместо конкретного анализа, излагается во многих статьях.

Но давайте внимательно прочтем эти статьи и рецензии. И если после этого кто-нибудь не согласится с моими выводами и замечаниями, то я буду очень рад.

А пока давайте поспорим и в споре выявим истину.

К сожалению, в последние годы между нами, таджикскими критиками и литературоведами, очень редко происходили споры

и дискуссии, и это, как мне кажется, является одной из серьезнейших причин отставания нашей критики от жизни, от достижений советской литературы, от требований и задач, поставленных перед литературой Коммунистической партией.

Критик М. Шукуров посвятил свои статьи анализу творчества молодых таджикских поэтов. Он поднимает в них ряд проблем современной таджикской поэзии, в частности, проблему гражданской и интимной лирики, которая за последние годы получила широкое развитие в нашей поэзии. В своей статье «Некоторые вопросы художественного мастерства молодых поэтов...» М. Шукуров совершенно правильно отмечает, что «лучшие из наших молодых поэтов... берутся за создание крупных полотен, и работают над многими серьезными и важными темами современности». Подробно анализируя творчество Аминджона Шукухи и Гафара Мирзоева, критик приходит к правильному выводу, что оба поэта обладают своим собственным голосом, яркой индивидуальностью. Говоря о творчестве молодых и начинающих, критик на конкретных примерах показывает недостатки их произведений: отсутствие конкретной темы, схематизм. М. Шукуров убедительно показал, что стихи этих поэтов изобилуют пустыми, красивыми фразами.

В предисловии к своей статье критик указывает, что большинство подобных недостатков происходит от того, что наши молодые поэты не связаны с жизнью, недостаточно требовательны к своему творчеству и мало работают над повышением своего «профессионального мастерства».

В своей второй статье «За лирику высоких чувств» М. Шукуров, разбирая, в сущности говоря, тот же вопрос о месте лирики в творчестве молодых таджикских поэтов, анализирует стихи и поэмы Ф. Ансори, Бобо Ходжи, А. Сидки с точки зрения поэтического мастерства. Критик убедительно показал, что стихам этих поэтов не хватает гражданского пафоса, что редко поднимают они в своих стихах важнейшие общественные темы. Третья статья М. Шукурова посвящена анализу поэмы Г. Мирзоева «Венец счастья». В ней читатель знакомится с интересными соображениями критика о стиле и поэтической манере Г. Мирзоева, о месте его поэм «Асрор» и «Венец счастья» в современной таджикской поэзии.

К сожалению, анализируя стихи молодых поэтов с точки зрения художественного мастерства, критик, как нам кажется, не всегда даёт правильные оценки.

Так, например, критик пишет: «молодые поэты пытаются отразить в своих стихах различные стороны нашей многогранной действительности, выразить в них и свое отношение к жизни, и свои философские раздумья. Все это воплощают они в художественных образах».

Для подтверждения своей мысли М. Шукуров приводит четверостишие А. Сидки «Два сердца», говоря, что именно оно является наиболее характерным для таких стихов. К сожалению, мы не видим в этом четверостишии ни «различных сторон нашей

жизни», ни «элементов философии», ни «оригинальных художественных образов».

Вот это четверостишие:

То сердце, которое кипит от любви,
Чисто и светло, как зеркало.
То же сердце, в котором не звучит любовь,
Полны злости и мрака.

Нам кажется, что это очень посредственное стихотворение со старыми, избитыми сравнениями (так например, чистота и светлость того или иного предмета много раз сравнивались с зеркалом), кроме того, здесь нет логической связи между первой и второй строкой, а две последние, сами по себе, не убедительны.

И все же, несмотря на это, статьи М. Шукурова о творчестве молодых поэтов обладают рядом серьёзных достоинств.

Отмечая удачу и просчеты молодых, критик не удовлетворяется общими словами, а на конкретных примерах показывает молодым авторам, в чем заключаются недостатки их стихов и какими путями должны идти их дальнейшее творчество. Его статьи пронизаны духом доброжелательности и искренним желанием помочь молодым поэтам. Ярким примером такой критики служит последняя статья М. Шукурова, посвященная анализу языка некоторых молодых переводчиков, «И слога нет, и слова нет, и мысли нет, и смысла нет».

Х. Мирзо-заде, проанализировав в своей статье «Будущее советской таджикской прозы» рассказы молодых прозаиков М. Шарки, М. Багирова, Б. Артыкова, Дж. Одинаева, М. Рустамова, отмечает, что их первые рассказы слабы не с точки зрения тематики, а с точки зрения художественного мастерства. Действительно, авторы, о которых идет речь в статье, выбирают для своих рассказов жизненно-важные темы, но, пытаясь воплотить свои замыслы в художественные образы, допускают серьёзные ошибки и просчеты. Основная причина этих неудач — отсутствие мастерства.

Мирзо-заде не ограничивается общими словами и рассуждениями, а показывает, в чем конкретно проявляются достоинства и недостатки рассказов молодых литераторов, в чем причина их успехов и неудач.

К сожалению, критику это далеко не всегда удается. Так, не удалось ему достаточно убедительно показать основной недостаток произведений некоторых наших молодых писателей «со стажем», таких, как М. Шарки, М. Багиров, Дж. Одинаев. Дело в том, что критик обычно делает выводы на основании одного или двух рассказов. А поскольку за пределами статьи оставлены многие, порой довольно любопытные рассказы этих авторов, то вполне естественно, что суждения и оценки критика страдают односторонностью.

Кроме того, критик анализирует произведения только с точки зрения темы, сюжета, композиции и образов, но ничего не говорит о средствах художественной выразительности — о языке.

В своем докладе на II Пленуме Правления СП Таджикистана, впоследствии переработанном в статью, Р. Ходи-заде де-

лает обзор произведений молодых писателей. Анализируя отдельные стихи и рассказы, критик поднимает ряд проблем современной прозы и поэзии.

В этой работе Р. Ходи-заде рассматривает произведения молодых писателей только с точки зрения содержания. Когда же дело касается художественных достоинств произведения, критик ограничивается общими словами и рассуждениями. Так, например, правильно подчеркнув идейную и художественную ценность очерков Ф. Мухаммадиева, критик вместо делового и конкретного разбора языка и стиля этих очерков пишет: «Рассказы и очерки Ф. Мухаммадиева написаны простым и ясным языком. И мы уверены, что те языковые недостатки, которые еще встречаются в его произведениях, будут в ближайшее время устранены автором, который в своих первых рассказах и очерках показал, что он прекрасно владеет языком».

А вот что говорит критик о поэме Сидки «Каттача»: «Если не принимать во внимание незначительные погрешности в языке поэмы, то можно сказать, что эта поэма написана доступным языком, стройна по композиции и увлекательна. Она безусловно интересней, чем поэма Бахори «Знакомые». Это голословное сравнение особенно неожиданно, потому что критик в своей статье не упоминал поэму Бахори и, кстати сказать, вообще очень мало и поверхностно говорил о творчестве этого молодого писателя, опубликовавшего за последнее время много произведений.

Так же поверхностно оценил Ходи-заде хороший сборник рассказов для детей А. Шарифи «Орифджон и Горлинка», рассказы М. Шарки, поэмы Ф. Ансоря и Г. Мирзоева, почти ничего не сказал о творчестве молодых поэтов и прозаиков, совсем недавно вступивших на «литературную арену» — таких, как Абдусалом Атабаев, Р. Хайдаров, А. Восит-заде, У. Раджаб, А. Бабаджанов, Басир Расо, Б. Артыков и многих других, которые, к сожалению, были только перечислены в докладе. А ведь эта молодежь делает свои первые шаги, и важная задача нашей критики вовремя помочь им и направить по правильному пути. В самом деле, не вине ли нашей критики молодые писатели снижают к себе требовательность и выступают в печати со слабыми произведениями, как в художественном, так и идейном отношении? Свидетельством такого нетребовательного отношения к произведениям молодых являются сборники для детей А. Восит-заде, «Ответ Савсан», «Рассказы бабушки» Убайда Раджабова, Многие стихи А. Бабаджанова, Басира Расо, рассказы А. Атабаева и некоторые другие.

Конечно, ни в одной статье, ни в одном докладе невозможно широко осветить творчество всех молодых таджикских писателей. Ведь наша писательская молодежь очень многочисленна и работает во всех жанрах литературы. Поэтому, нам кажется, было бы правильной построить статью вокруг какого-нибудь одного, важного для творчества молодых писателей вопроса, ну,

скажем,— тема современности в творчестве молодых писателей.

Р. Ходи-заде полемизирует в своей статье с некоторыми положениями статьи Г. Мирзоева «Наша задача—учиться и поднимать свое мастерство». Так, критик справедливо не соглашается с Г. Мирзоевым, утверждающим, что «Газели Саади, Хафиза, Хилоли, Камоля, в основном, риторичны. Великими сделали их те газели, которые являются жемчужиной риторики». Несколько ранее, в своей статье «За лирику высоких чувств» М. Шукуров также выступал против этого утверждения Г. Мирзоева. У нас, к сожалению, очень редко проходят творческие дискуссии, редко разгораются литературные споры на страницах печати. Нам кажется, такой спор критиков с молодым поэтом был бы весьма плодотворным и полезным.

Р. Ходи-заде не следовало ограничиваться простым возражением Г. Мирзоеву, следовало бы на конкретных примерах показать, чем дороже нам классическое наследие, как нужно его изучать и творчески осваивать.

Р. Ходи-заде приводит цитаты из высказываний В. И. Ленина и М. Горького о необходимости учиться у классиков, но очень жаль, что он не приводит конкретные примеры из произведений лучших представителей советской таджикской литературы: С. Айни, Абулькасыма Лахути, М. Турсун-заде и других о том, как учились они у классиков, какими путями обогащали они свое творчество из великой сокровищницы классической литературы.

Перед нашими критиками и литературоведами стоит важная задача: разъяснить молодежи всю важность изучения классического наследия, показывая его богатство и ценность, писать проблемные статьи по вопросам изучения классического наследия, организовать творческие дискуссии по этим вопросам. Надо, чтобы нашей молодежи было ясно не только то, что классическую литературу следует изучать, но и как ее изучать. И показывать это надо не только на цитатах и высказываниях корифеев, а на конкретном анализе произведений классиков и лучших произведений советской таджикской литературы, на конкретных примерах того, как классики влияли на мастеров нашей советской литературы.

Одной из серьезных критических статей, посвященных анализу творчества молодых литераторов, следует назвать статью Сахиба Табарова «Очерк и рассказ должны стать боевым жанром таджикской литературы». В этой статье критик анализирует первую книгу очерков и рассказов Ф. Мухаммадиева «Переселенцы». Правда, в нашей периодической печати был уже опубликован ряд статей и рецензий о книге Ф. Мухаммадиева «Переселенцы». В этих статьях и рецензиях было высказано много интересных мыслей о творчестве Ф. Мухаммадиева. В своей статье С. Табаров уделит большое внимание анализу художественного мастерства, языка и стиля молодого очеркиста. Впрочем, иногда, говоря об очерке «Фаттох и Музаффар», кри-

тик развивает некоторые положения, уже высказанные в периодической печати. Непонятно только, почему он не упоминает в своей статье имена тех критиков, которые выступали до него по этому вопросу, и почему мало говорит о недостатках, имеющихся в произведениях Ф. Мухаммадиева.

Так, например, С. Табаров высоко оценивает рассказы Ф. Мухаммадиева «Письмо друга» и «Вопрос жизни». Действительно, это хорошие рассказы и С. Табаров правильно пишет, что в них автор показывает «...сегодняшний кшлак, труд колхозников... индивидуальные характеры людей... В них подняты вопросы семьи и любви». Говоря о манере Ф. Мухаммадиева, как рассказчика, Табаров указывает на интересные особенности его творчества. Но, к сожалению, он не останавливается, как мы уже сказали, на недостатках молодого прозаика, хотя именно в рассказе «Письмо друга» автор допускает серьезные, с нашей точки зрения, ошибки.

Автор говорит о Сорохон, как о передовой, умной и волевой женщине. Ее муж Кабиллджон тоже очень хороший человек. Так почему же в этой семье происходит разлад? По словам автора получается, будто после поездки в Москву Сорохон совсем переменялась. Она снова встречается со своим прежним поклонником Хайдар-джоном. В семье назревает серьезный конфликт. Но автор, увлеченный переживаниями своей героини, так и не разрешил этого конфликта. Не раскрыл он и внутреннего мира Сорохон, не создал на страницах рассказа законченного образа ее мужа.

Об этих недостатках было сказано в печати, но С. Табаров не опровергает замечания критиков и не высказывает своей точки зрения на этот вопрос.

Впрочем, здесь тов. Табаров не одинок. Наши критики часто пишут так, как будто они Робинзоны на необитаемом острове. Они не замечают труд своих товарищей по перу. Не спорят друг с другом и даже не соглашаются друг с другом, они просто не замечают друг друга.

Вот любопытные факты.

О сатирических рассказах Рахима Джалила написано 7 статей и почти никто из авторов не упоминает ни одной из написанных ранее до него. А ведь это по меньшей мере неуважение к труду своих товарищей и к читателям, которые ожидают от критиков анализа различных точек зрения их сопоставления.

Что касается очерка Ф. Мухаммадиева «Один день», то критик коротко, в одном абзаце, пересказав его сюжет, резюмирует: «В очерке есть некоторые отдельные интересные эпизоды и детали. Поэтому мы думаем, что читатель прочтёт этот очерк с большим интересом».

В то же время следует сказать, что очерки Мухаммадиева «Один день» и «Переселенцы», будучи совершенно различными и по размеру, и по композиции, и по охвату жизненного материала, очень важны для определения творческого лица Ф. Мухаммадиева как очеркиста.

Мне хочется остановиться еще на одном, важном с моей точки зрения, вопросе. Дело в том, что у нас появляются еще иногда панегирические, захваливающие рецензии или наоборот, резко критические, подвергающие то или иное произведение молодого автора буквально разному. Такие рецензии наносят серьёзный вред развитию нашей литературы, но особенно вредно они отражаются на творчестве молодых авторов. Они лишают молодежь веры в свое призвание, дезориентируют их.

Такие беспринципные, субъективные выступления были в свое время подвергнуты резкой критике. Товарищ Суслов говорил по этому поводу: «Нельзя мириться с тем, что критики иногда učinяют несправедливый и обидный для авторов разнос их произведений, полностью перечеркивая большую творческую работу художника. Особенно нетерпимо, если в своих оценках критики исходят из предвзятых, субъективных, по существу эстетских представлений. Такая критика не приносит пользы развитию литературы и искусства».

Ведь художественное произведение, будь то небольшое лирическое стихотворение, поэма или роман, требует большого труда. Этот труд писателя можно сравнить с трудом садовника, который на пустом месте вырастил прекрасный сад. Долгие годы ухаживает он за растениями, оберегая их от зимней стужи и летнего зноя.

И вот представьте себе, что в этот сад, так заботливо взращенный садовником, врывается некто с топором и уничтожает его. Он вырубает деревья, топчет цветы, ломает кусты. Некоторые наши критики напоминают мне людей, которым чуждо чувство прекрасного, у которых не болит сердце за «сад» нашей литературы.

Наша критика должна быть заботливой и доброжелательной.

Вот что получилось со стихами молодого талантливого поэта Мумина Каноата. В сборнике Мумина Каноата «Искра» много хороших лирических стихотворений, но, к сожалению, есть и слабые стихи, свидетельствующие о молодости и неопытности автора. Этот сборник можно было бы сравнить с прекрасным цветником, в котором наряду с пышными розами есть нераспустившиеся бутоны и сорняки. Критику надо было бы показать читателю, какой прекрасный букет может он собрать в этом саду, а садовнику показать, где у него в саду растёт сорняк. Рассказать, как должен он ухаживать за своим садом, чтобы ещё пышнее и краше разрослись бы в нём цветы.

С. Табаров посвятил творчеству М. Каноата две статьи^{*}: одну под названием «К вершинам поэзии», он опубликовал 16. IV. 59 г. в газете «Маориф в маданият», другую — «Мысль должна быть содержательна, а изложение ясным и четким» 28. II. 60 г. в газете «Тоджикистони Совети». Как видите, между опубликованием обеих статей прошло меньше года, но по их тону можно подумать, что между ними лежит вечность. Первая статья

была сплошь хвалебная, в ней у критика не нашлось ни одного серьёзного замечания о творчестве поэта.

Во второй же статье С. Табаров резко критикует молодого поэта, называет его формалистом и утверждает, что «последние стихи М. Каноата не могут не обеспокоить любителей поэзии». Анализируя стихи, входящие в этот цикл, он говорит даже, что «это не законченные стихи, а какие-то черновые наброски или этюды стихов».

Анализируя стихотворение «Будет сердце...», критик пишет: «В этом стихотворении поэт хотел показать, как объединенными усилиями молодежи пустыни превращаются в сады. Но, к сожалению, для более яркого и наглядного выражения своей мысли поэт взял много раз использованные в классической таджикской литературе сравнения. Кроме того, в этом небольшом стихике поэт смешал несколько вопросов и в результате ни одного из них ему не удалось разрешить».

Вот это четверостишие:

Светильники, собранные в круг — образуют люстру
стук чувств — образует сердце.

А если в одном месте объединить сердца и руки
молодежи,
То пустыня станет садом, а разрушенный край
жизлицем.

Конкретизируя свои замечания, критик пишет: «Мумин Каноат заимствует из классической литературы и «превращение светильника в люстру» и то, что «сердце — это стук чувств». Но так как он заимствует эти образы без глубокой внутренней необходимости, то они у него ничем не связаны с основной идеей стиха».

Мне кажется, что замечание критика в данном случае несправедливо. Да, действительно, слово люстра (кандиль) встречается в классической литературе, но поэт дает его здесь совершенно по-новому. Используя подряд несколько образов, он как бы усиливает, дополняет и углубляет их. Он хочет показать великую силу дружбы, великую силу единения. И так же, как много светильников образуют люстру, а чувства, собранные в единый стук, становятся сердцем, так и усилия молодых рук и сердец могут на месте пустыни создать прекрасные сады и благоустроенные селения. Но, как бы не желая замечать этой, такой очевидной мысли автора, критик пишет: «Из этих двух образов только, пожалуй, «сердце» в какой-то степени связано с основной мыслью автора, да и то не очень четко... Если в своем четверостишии «Будет сердце...» поэт хотел через образ «люстры» (кандиль шудани чарог) показать жар пламенных сердец нашей советской молодежи, чистоту их мыслей и стремлений, то ему следовало бы сделать это ярче и интереснее найти какой-либо поэтический образ или более образное выражение своей мысли...»

Критик очевидно не понял, что первые две строки даны поэтом, чтобы глубже

* Эти рецензии С. Табарова были посвящены 2 циклам стихов М. Каноата, которые впоследствии вошли в сборник «Искра».

выразить и ярче оттенить свою мысль, изложенную в последних двух строках, и здесь никаких иных «поэтических образов или более образного выражения своей мысли» ему не требовалось.

Дальше критик пишет: «Отношение и логическая связь всех слов и выражений в каждой строке должны выражать самостоятельную мысль, рождают глубокие чувства». Казалось бы, критик совершенно прав: действительно, мы требуем от поэзии свежих мыслей и глубоких чувств. Но требовать всего этого от каждой, отдельной стихотворной строки неверно. Хотя бывают отдельные строки или байты, выражающие законченную мысль и отвечающие всем этим требованиям, но в основном глубину идейного содержания следует искать в целом, законченном стихотворении, а не в каждой отдельно взятой строке.

Заключает критик анализ этого четверостишия следующими словами: «Вот поэтому-то стихотворение «Будет сердце...» и по смыслу, и по содержанию, и по манере изложения содержит как бы три незаконченных замысла (нукта), но к ним следовало бы прибавить еще один настоящий, истинный замысел».

Нам кажется, что в этом четверостишии нет «трех отдельных замыслов», а совершенно четко видна основная мысль автора, основная идея: если молодёжь объединится, то она может благоустроить любую развалину, превратить пустыню в сад. Я не могу, конечно, сказать, что поэт здесь открывает какую-то новую, никем до него не открытую истину, но его заслуга в том, что он старается сказать её по-своему, поэтично. В этом четверостишии видны поиски поэта, его поэтическое видение мира — и это очень хорошо.

И наконец, говоря обо всем цикле, критик пишет: «В большинстве стихотворений, входящих в цикл «Новые стихи», много запутанных, сложных образов, мысли выражены не четко, завуалированно. Все это затрудняет чтение стихов Каноата и вызывает опасение, что поэт склоняется к формализму и отрывается от читателей...»

Здесь, можно сказать, критик из-за леса не увидел деревьев. Правильно отметил отдельные недостатки, Табаров справедливо предупреждает молодого поэта об опасностях, стерегущих его на пути формализма и элигонства. Но увлекшись перечислением недостатков, критик обвиняет молодого поэта в отрыве от читателей, в незнании жизни и в других смертных грехах, совершенно не замечая, или вернее, не желая замечать, что М. Каноату, пожалуй, в большей степени, чем кому-нибудь другому из наших молодых поэтов свойственно чувство современности и желание откликнуться на важнейшие события нашей действительности. Он забывает, что если идейное направление художественного произведения правильно и служит на пользу нашему обществу, то даже если оно и имеет какие-то недостатки, перечеркивать его и обвинять автора в формализме, эпи-

гонстве, в слепом подражании классикам, как это делает М. Каноата критик, — неправильно.

С. Табарову следовало бы в своей статье показать, насколько отвечают стихи поэта запросам жизни, как решает он современную тему и как использует в своем творчестве сокровищницу нашей классической литературы.

Ведь творческое использование классической поэзии для отражения современной темы не является слепым заимствованием. Нам кажется, что Мумин Каноат творчески пользуется богатством классической поэзии — для более яркого и точного воплощения современной темы.

В своих стихах «Пламя любви», «Шаловливая вода» и «Огонь» поэт поднимает важнейшие вопросы современности, он говорит о борьбе против поджигателей войны, о силе коллектива, о дружбе и чистой любви. Поэт воплощает свою тему в конкретных образах, которые делают идеи поэта зримыми и понятными. Возьмём, например, стихотворение «Огонь», посвящённое борьбе с поджигателями войны. Тема эта не нова в советской литературе. Но М. Каноат нашёл свое собственное решение этой темы, свой неожиданный поворот. В начале стихотворения поэт рассказывает о том, как огонь с древнейших времён служил человеку. Но потом тёмные силы заставили его служить своим низменным целям.

Огоны! Неужели ты злая чума?
Ужель за тобой только ужас и тьма,
И ветер по свету разносит золу...
Чему же ты служишь — добру или злу?
Но силы добра необоримы
О нет! Горький пепел-тех лет унесло.
Иное сейчас у огня ремесло.
Он жизнь создает, смутливый расцвет!
Он ввысь поднимает орбиты ракет!
И в злости ничтожен нежданный прыжок:
Уже невозможен всемирный поджог.

Это стихотворение, написанное на важнейшую тему современности, свидетельствует о поэтической зрелости М. Каноата, конкретности и образности его стиха.

Партия требует бережного и заботливого отношения к молодым писателям.

«...если писатель зорко подметил важные, новые явления жизни, если в его произведении есть удачные образы, то критик не имеет права огульно перечеркивать всю его работу, а должен заботливо и внимательно разобрать произведение и тем помочь автору», — говорил М. А. Суслев.

К сожалению, статья С. Табарова не отвечает требованию «заботливого и внимательного анализа, который должен помочь автору». В своей статье «Мысль должна быть глубокой, а стиль простым и ясным» критик, назвав М. Каноата формалистом, перечеркивает все его творчество. К сожалению, такой стиль критики свойственен был и некоторым другим статьям С. Табарова, на что в свое время ему указывал устод С. Айни.

«Надо сказать, — писал С. Айни, — что критический метод С. Табарова не верен. Критика должна быть дружеской, добро-

желательной. Резкая, раздражительная критика не приносит пользу ни читателю, ни автору. Кроме того, у нас есть критики, которые, говоря о недостатках других, замалчивают собственные недостатки. Или вместо нормальной критики устраивают просто какое-то злобное побоище... Наша критика не должна быть такой. В первую очередь мы должны помнить, что наша критика должна служить обществу.

Интересной формой критики являются обзоры, подводящие итоги какому-либо определенному периоду развития литературы, дающие возможность показать литературный процесс в его движении. К сожалению, в последнее время этот жанр критики у нас встречается все реже и реже, да и качество обзоров очень низкое.

Здесь мне хочется сказать несколько слов о рецензиях, печатаемых на страницах нашей периодической печати. К сожалению, в своем большинстве, эти рецензии мало что могут дать молодому писателю. Как правило, в них нет художественного анализа. Обычно критик или безоговорочно восхваляет произведение, или, напротив, полностью охаивает его. В этих рецензиях слишком много общих слов, пересказа содержания, перечисления тем и сюжетов.

В чем задача рецензии? В рецензии критик должен рассмотреть художественное произведение с точки зрения важнейших вопросов современности. Он должен показать, правильно ли решает эти вопросы, рецензируемое произведение, правдивы ли в нем характеры и жизненные ли картины, какими художественными средствами пользуется писатель для достижения своей цели.

Однако большинство наших рецензий написаны наивно, схематично. Вместо глубокого анализа авторы ограничиваются простым пересказом сюжета.

В качестве образца мне хочется показать Вам рецензию У. Раджабова на два детских сборника молодых писателей Б. Артыкова и М. Багирова. Я останавливаюсь именно на этой рецензии, потому что в ней особенно ярко видны недостатки, характерные в той или иной степени большинству наших рецензий.

Говоря о книжке Б. Артыкова «Сельские племянники», рецензент пишет, что в ней описывается жизнь детей колхозников и «она ни в коей мере не похожа на сборник рассказов «Наши друзья». Хотя чуть дальше автор утверждает, что «в этих рассказах основное место тоже занимает тема «труда».

Значит, тоже дети, тоже школа, тоже труд... так в чем же отличие? в подходе к теме, в стиле, в манере изложения, а может быть, это отличие еще глубже?

Но нет, ни о чем этом критик не говорит. Он пишет о схеме, о штампе, присущим, в одинаковой степени обоим авторам. А ведь это действительно два разных автора и именно то, что они оба пишут на одну и ту же тему, еще ярче оттеняет их стилистические особенности. Но критик не пытался вдуматься в эти особенности, а в результате не заметил, что одна из ведущих тем в

сборнике рассказов Б. Артыкова — не труд, а тема героизма. Не поняв этого, критик обвиняет автора чуть ли не в плагиате, в перепеве собственных сюжетов. Критик пишет: «В рассказах Б. Артыкова мы видим повторения. Например, идея его рассказа «Проволока» с одной стороны схожа со стихотворением Дж. Сухайли «Пионер Ракматджон», с другой стороны напоминает его собственный рассказ «Пожар». Дальше У. Раджабов пересказывает сюжеты и заключает, что «в обоих рассказах все происходит совершенно случайно».

Такое заключение неверно. Писатель хотел сказать читателю о том, сколь естественно чувство героизма у наших ребят, сколь велико у них чувство ответственности за все, что происходит на белом свете... Горит хлеб, подвергается опасности колхозное стадо, упала электрическая проволока — все их касается, за все у них болит сердце. Вот материал для разговора о патриотизме, о героизме наших ребят. А критик проходит мимо и утверждает, что это просто случайность. А вот другой рассказ Б. Артыкова — «Дружба», лучший в сборнике. Безо всякой дидактики, что так редко в нашей детской литературе, Артыков рассказывает о том, как дружба с русским мальчиком помогла его герою Ахмаду выучить русский язык и исправить двойку по русскому. А вот что говорит об этом рассказе У. Раджабов: «В рассказе «Дружба» мы видим трудолюбивого Ахмада, который усиленно читает книжки, чтобы выучить русский язык, не краснеть перед своими товарищами по лагерю. Читая книги, он закрепляет свои знания, полученные в году и считает это лучшим отдыхом».

Здесь мы встречаемся с любопытным явлением. Автор пытается вырваться из схемы, рассказать о важном и нужном, о дружбе таджикского и русского народа, как-то по-своему, не стандартно, без дидактики и лозунгов, а критик старается этот рассказ засунуть в Прокустово ложе схемы. И если говорить о рецензии, как пропаганде, то вряд ли эта рецензия может выполнить даже эту функцию — кому захочется после такого «анализа» прочесть рассказы Артыкова? А ведь прочесть их следует.

Но хотя наши критики и не всегда смогли в своих статьях решить многие проблемы современной таджикской литературы, тем не менее радостно, что за последнее время они стали более внимательно следить за выходом в свет новых произведений. Наши молодые писатели горячо берутся за многие вопросы современности, ищут новые формы, способы для решения этих вопросов. Критик, анализируя или рецензируя эти произведения, вынужден окупаться в гущу жизни, сопоставить, насколько правильно, насколько точно молодой писатель подметил то или иное явление реальной действительности, насколько верно, насколько реалистично отразил в своем произведении нашу жизнь, борьбу нашего народа за построение коммунистического общества. К сожалению, такую проверку жизнью произведений молодых писателей,

мы встречаем не так уж часто. Большинство критиков и литературоведов рассматривают и образы, и характеры, и фабулу, и идею, и прочие элементы художественного произведения лишь с точки зрения «чистой» литературы, безо всякой связи с жизнью. А ведь литературная критика является одним из видов партийной пропаганды, и критик обязан анализировать произведения в связи с задачами, поставленными перед народом, Коммунистической партией. Он обязан знать жизнь не хуже, а может быть, и лучше, чем писатель, и давать оценку того или иного произведения с точки зрения интересов народа и партии.

Причина отставания нашей критики, как мне кажется, заключается в том, что большинство наших критиков и литературоведов стоят несколько в стороне от литературного процесса сегодняшнего дня. (Я не хочу этим сказать, что проблемы изучения классического наследия и истории советской литературы не важны). Редко выступают они на страницах периодической печати с рецензиями и статьями, посвященными творчеству современных таджикских писателей или по проблемам современной литературы. Мало изучают жизнь. К сожалению, надо сказать, что их жизненный опыт складывается, главным образом, в аудиториях и коридорах института, в библиотеке, в собственном доме, на улицах Сталинабада и, наконец, в краткосрочных поездках (и то на самолёте) в Ташкент, Москву и Ленинград.

С трибуны IV съезда писателей Таджикистана М. Турсун-заде справедливо говорил об этом недостатке в работе наших критиков и литературоведов: «...большинство из них не выходит из собственного кабинета. Отойдя от насущных интересов литературы, они хранят вповсюду молчание». И верно, годами не выступают в печати товарищи Ш. Хусейн-заде, Х. Мирзо-заде, Н. Масуми, Ю. Бабаяев ни с проблемными статьями, ни с рецензиями, хотя, в свое время, они живо откликнулись на все события литературной жизни республики.

Нам могут возразить, что эти товарищи являются руководителями научно-исследовательских институтов, что они заняты большой научно-исследовательской и педагогической работой. Это, конечно, всё верно, но из этого вовсе не следует, что жизнь даёт им право стоять в стороне от животрепещущих вопросов литературной жизни в республике. И самое грустное заключается в том, что некоторые молодые критики (Яхье Исаяев, Дж. Бобокалонова и другие) берут пример со своих старших, опытных товарищей и годами не выступают с критическими статьями.

Надо, чтобы специалисты по классической таджикской литературе познакомили нашу писательскую молодежь с поэтической техникой, богатством языка и средств художественной выразительности классической поэзии. Они должны в своих статьях помочь молодым литераторам глубоко освоить классическую литературу и пользоваться её богатством.

Таджикское литературоведение имеет большие успехи как в области изучения классического наследия, так и в области советской литературы. За последние годы были опубликованы исследовательские статьи и монографии, посвященные жизни и творчеству классиков таджикской литературы А. Рудаки, Хафиза Шерози, Сандо Насафи, Шохина, Ахмада Дониша, лучших представителей советской таджикской литературы С. Айни, А. Лахути, М. Турсун-заде.

Серьёзным достижением таджикского литературоведения являются вышедшие из печати «Очерки советской таджикской литературы». В работе над этой книгой принимали участие ведущие критики и литературоведы нашей республики. Особенно большой труд вложили в создание этой книги товарищи Ш. Хусейн-заде, Х. Мирзо-заде, М. Шукуров и другие. Ш. Хусейн-заде, являясь одним из основных авторов очерка, написал для него обзор литературы послевоенных лет и главу, посвященную разбору творчества Дж. Икрами.

Здесь мне хотелось бы остановиться на одном, с моей точки зрения, немаловажном вопросе.

В последние годы у нас в критике появилось довольно много статей, критикующих недостатки «вообще». Эта так называемая критика «без адреса» свойственна и последним выступлениям и статьям Ш. Хусейн-заде.

Посмотрим хотя бы его доклад на IV-м съезде писателей Таджикистана, который можно назвать ярким образцом такой абстрактной критики. В этом докладе рецензируют о многих серьёзнейших проблемах советской таджикской литературы. Очень убедительно говорится там о недостатках изучения истории таджикской советской литературы и литературной критики. В первом разделе своего доклада Ш. Хусейн-заде рассказал о пути, который прошла советская таджикская литература, литературная критика и литературоведение за 40 лет. Он перечислил наиболее крупные произведения в области литературной критики и литературоведения.

Затем Хусейн-заде переходит к разделу «Важнейшие вопросы литературной критики». Здесь он излагает ряд серьёзных проблем, стоящих перед нашей литературной критикой, говорит о недостатках в нашем литературоведении, о том, что критики мало пишут серьёзных научно-исследовательских статей по общим, теоретическим вопросам литературоведения.

С подлинным волнением и жаром написаны разделы «Литературная критика и жизнь» и «Литературная критика и литературоведение должны охватывать важнейшие вопросы жизни».

Здесь критик еще и еще раз зовет наше внимание на важнейших вопросах советского литературоведения, о которых говорилось в постановлениях партии и правительств. Он приводит очень важные для воспитания нашей молодежи высказывания великих русских критиков и писателей, таких, как Н. Г. Чернышевский, В. Г. Белин-

ский, Н. Добролюбов, М. Горький, А. Фадеев.

Но, к сожалению, автор не сопоставляет теоретические основы своего доклада с сегодняшней практикой таджикской литературы, не подкрепляет свои выводы анализом произведений таджикских писателей, конкретным разбором критических статей.

Вообще, докладу тов. Хусейн-заде, как мы уже говорили, свойственна некоторая неконкретность, отсутствие точного адреса. Так, вскрывая недостатки нашей литературной критики, говоря об ошибках в критических произведениях наших таджикских литераторов, Ш. Хусейн-заде, по большей части, говорит: «вообще», «у некоторых критиков», «в некоторых статьях и рецензиях»... Он не называет фамилии критика, не указывает названия статьи. Переходя к анализу конкретных недостатков, автор удовлетворяется такими общими формулировками: «Некоторые критики ждут опубликования плохого или хорошего произведения, чтобы хорошее расхвалить, а плохое раздраконить». Или: «В некоторых статьях критик говорит, главным образом, о значении темы и о сюжете произведения, о поступках его героев, а затем, упомянув о предыдущих произведениях писателя, заканчивает рецензию пожеланием автору «дальнейших успехов». Или: «некоторые товарищи, занимаясь вопросами современной литературы, вместо конкретного анализа говорят вообще о современной теме, о проблемах изучения жизни и о связи писателя с жизнью». Всё это в общем верно, но слишком «в общем». Ведь всё это можно сказать о многих наших современных писателях и критиках и, в частности, о самом авторе этих строк.

В другом месте своего доклада Ш. Хусейн-заде говорит, что наши наиболее маститые критики Х. Мирзо-заде, Ю. Бабаев, С. Табаров, М. Шукуров, Р. Ходи-заде, Н. Нурджанов, Н. Масуми и другие очень мало пишут, а написанные ими статьи встречаются каким-то странным молчанием.

Это совершенно справедливое замечание, наши критики действительно пишут редко, ну а когда они пишут, их произведения, как правило, встречаются молчанием. Но почему это происходит? Может быть, их произведения не интересны? Или не отвечают требованиям жизни? Или здесь какая-нибудь другая причина? Не известно. Так кто же ответит на вопрос, поставленный докладчиком?

А Хусейн-заде говорит дальше:

«Пренебрежение к критике, пожалуй, более всего распространено среди наших поэтов и прозаиков. Следует признаться, что некоторые (опять некоторые) писатели

не любят критику, боятся её. Они распространяют о критиках всякие некрасивые слухи, ссорятся и спорят с ними. Такие писатели, забыв всякий стыд и совесть, пытаются представить каждое, даже самое слабое из своих произведений, как образец, как классику».

Это, конечно, очень серьёзное обвинение. Но так как критик и здесь не назвал ни одного конкретного имени, не сказал, кто именно из писателей распространяет о «бедных» критиках некрасивые слухи, «ссорится» и «спорит» с ними, то и это обвинение повисает в воздухе.

В результате, благодаря отсутствию конкретных имён и фактов, интересный и содержательный доклад тов. Хусейн-заде потерял свою остроту.

7 января 1960 года в газете «Маориф ва маданият» была опубликована статья Ш. Хусейн-заде под заглавием «В поисках мастерства». В этой статье, напечатанной под рубрикой «Проблемы литературы», имеется много тонких мыслей о писательском мастерстве, даётся много интересных и верных советов молодым литераторам.

Но, к сожалению, и этой статье присущ тот же недостаток, что и докладу. Разговор с молодыми литераторами о писательском мастерстве должен был, по нашему мнению, вестись на конкретных примерах, на анализе произведений молодых писателей, на анализе образцов лучших произведений писателей старшего поколения. Но Хусейн-заде не разбирает ни одного конкретного произведения, не приводит примеров ни из произведений молодых авторов, ни из произведений писателей старшего поколения. Эта статья является примером тех же общих рассуждений, той же критики «без адреса», о которых мы говорили выше. А ведь критика не должна обходить острые углы и дипломатично избегать упоминания статей и их авторов.

Литературная критика — самый близкий друг и самый верный помощник писателя. Задача нашей критики глубже анализировать, внимательнее следить за творчеством наших писателей, бережнее воспитывать нашу молодёжь. На IV съезде писателей Таджикистана М. Турсун-заде сказал: «мы требуем от критики, чтобы она не только выступала по поводу уже вышедших книг, но и вдохновляла наших писателей на создание новых замечательных произведений».

Да, наши критики должны больше заботиться о новых силах в нашей литературе, о нашем литературном пополнении. Они должны смотреть на воспитание нашей талантливой молодёжи как на своё кровное дело и отдавать ему все свои силы, все свои способности.

Литература переднего края

(Заметки об очерке)

Двое людей побывали в небольшом городе. Один из них рассказывал о строительстве ГЭС, с восхищением вспоминал молодежь, которая по вечерам заполняет классы вечерней школы. Без конца припоминал он новые подробности:

— Подумать только: районный центр, а свою музыкальную школу открыли — и желающих хоть отбавляй. Народный театр ставит «Иркутскую историю» — и играют такие же ребята, как герои пьесы.

Второй запомнил другое:

— Шашлык там замечательно готовят...

Этот разговор возник в памяти не случайно, а именно в связи с мыслями об очерке. Вот так по-разному увидели молодой город двое приезжих: один заметил приметы новой жизни, другой — только шашлык.

Подобное бывает и с очеркистами: одни зорко вглядываются в жизнь, поднимают глубокие ее пласты, другие изображают действительность упрощенно, поверхностно, напоминая того собеседника, который запомнил хороший шашлык, за кустами не разглядел густой поросли молодого леса.

Очерки — это поистине боевое оружие нашей литературы. Поле очерковой литературы необъятно: с одной стороны очерк приближается к рассказу, к повести, с другой — к публицистике, к статье.

Теоретическая неразработанность жанра мешает подчас правильно разобраться в новых произведениях очерковой литературы. Если заглянуть в словарь литературоведческих терминов, то там можно прочесть, что «в очерке точно изображаются события, что очеркист «не вправе их изменять». Но все чаще появляются очерки без документальной основы, всё чаще в очерк вторгается вымысел — практика очеркистов сметает устаревшие каноны учебников.

Нередко под рубрикой очерк появляется обычный репортаж, оснащенный внешни-

ми приметами художественности — диалогом, наличием пейзажа, портретных характеристик и т. п. Такой не-очерк приближается к очерку только тем, что также содержит в себе какие-то реальные факты, какой-то жизненный материал. Но он уже не является произведением художественной прозы, не имеет отношения к литературе.

При всём широком разнообразии очеркового жанра, главное, характерное для него — это жизненность, достоверность, публицистическая направленность, активное деловое вторжение в процессы современной действительности.

«На переднем крае» — так озаглавлена книга очерков В. Овечкина. И это название как нельзя лучше определяет не только творчество самого автора, который в полный голос, со всей силой подлинного искусства говорит о наболевших вопросах колхозной жизни, но и вообще всей современной очеркистики, которая поистине стала литературой переднего края, литературой большого общественного звучания.

В очерке сочетаются беллетристические средства со средствами публицистики. У него на вооружении также находится впечатляющая сила живого факта. Но факт, по словам А. М. Горького, еще не вся правда, он только основа, из которой извлекается настоящая правда искусства. Типизация, обобщение начинаются с отбора фактов и явлений, наиболее сильно выражающих сущность нашего времени.

Публицистика в очерке связана с образом, с художественностью. «Произведение литератора лишь тогда, — писал Горький, — более или менее сильно действует на читателя, когда читатель видит все то, что показывает ему литератор».

Именно потому особое значение имеет в очерке, как и во всяком художественном произведении, мастерство, язык. Очерк, включающий в себя наряду с бел-

летристическими, также и исследовательские приёмы, требует от писателя не только красочности языка, но и его точности, лаконизма.

1. На верном пути

Жанр очерка в таджикской литературе имеет ряд значительных успехов. Только за последние годы в Таджикистане изданы три очерковых сборника: «Таджикские очерки», «Утро семилетки», «Спасибо партии».

Показательным является и то, что очерки таджикских писателей вышли за пределы республики — ряд таджикских очерков был напечатан и отмечен премией в журнале «Дружба народов», в котором помещают лучшие произведения национальных литератур.

Оперативность очерка позволяет писателям широко и своевременно освещать жизнь народа во всех сферах его деятельности. Это значительное преимущество, используется, к сожалению, еще далеко не полностью. Отрадно заметить, что вопросы сельского хозяйства, — а ими живет сегодня вся страна — заняли достойное место в произведениях наших очеркистов. Вслед за В. Овечкиным, В. Тендряковым и другими писателями очеркисты Таджикистана обращаются к изображению таких фактов и явлений, таких процессов, на ход которых можно повлиять, которые являются настоящими, жизненно важными в сегодняшнем дне республики.

Однако достижения очеркистов, работающих над темами сельского хозяйства, не распространяются на всю очерковую литературу. Так, например, явно не повезло индустриальной теме: у нас до сих пор нет так называемого производственного очерка.

Вне внимания остались также такие важные для жизни республики проблемы, как вопросы нравственного воспитания, атеистической пропаганды, проблемы борьбы с туземством, с феодально-байским отношением к женщине.

Особенно много существует так называемых портретных очерков. Нельзя согласиться с теми критиками, которые начисто отрицают право на существование очерков, рисующих какого-либо человека, и снисходительно именуют эти очерки «зарисовками». Если в подобных очерках талантливо раскрыт облик интересного человека, живо и увлекательно рассказано о его делах, то такое произведение, несомненно, доходит до души читателя.

Другое дело, что зачастую в этих очерках-портретах действительность изображается примитивно, приглаженно, описательно, их авторы старательно обходят острые углы. Жизнь в подобных произведениях выглядит розовой идиллией, на фоне которой совершаются подвиги — ни тебе борьбы, ни трудностей: тишь да гладь. Но это уже вопрос о качестве очерка, а не об особенностях жанра.

Смыкается с биографическим очерком и жанр литературного портрета, который

имеет немало удач — таковы очерки С. Улгузаде о С. Айни, М. Фофановой о М. Турсунизаде и Б. Рахимзаде.

Успехи очеркистики очевидны, они радуют всех, заинтересованных в её судьбе и росте.

Таджикская очеркистика полностью стоит на службе современности — она находится на верном пути. Именно потому к ней следует подходить требовательно и взыскательно.

2. Ближе к жизни

В центре очеркистики стоят произведения, в которых поднимаются кардинальные вопросы времени, авторы которых стоят близко к жизни. Жизнь подсказывает множество значительных тем, требующих оперативного публицистического вмешательства очеркистов.

Такие жизненно важные, острые очерки у нас есть и — немало. Среди лучших очерков последних лет следует назвать очерки Дж. Икрами, Ф. Мухаммадиева, Г. Мирзоева, М. Нажметдинова и А. Сидки.

Заслуженное признание завоевала разновидность очерка, приближенного к рассказу — это, по словам В. Овечкина, «большой разговор с читателем в художественной форме по поводу каких-то явлений жизни». Лучшие из таких очерков отличаются смелой постановкой острых вопросов жизни. К ним можно с полным основанием отнести очерк Ф. Мухаммадиева «Фаттох и Музаффар».

Фазлитдин Мухаммадиев — писатель молодой. Его первые произведения появились несколько лет назад. За плечами у него опыт работы в газете и журнале. С первых очерков Мухаммадиева читатель увидит, что он старается проникнуть в глубь явлений, продумать, понять их сущность.

Мухаммадиев обращается к важным темам: его интересуют вопросы экономики, пути подъёма колхозного хозяйства, жизнь горных таджиков-переселенцев в долине, перестройка их мировоззрения («Переселенцы»), методы руководства в колхозах, применение хозрасчёта в колхозном хозяйстве и многое другое.

В очерке «Фаттох и Музаффар» писатель показал два метода руководства сельским хозяйством. Эти методы воплощены в двух образах, двух разных характерах, нарисованных молодым писателем ярко и правдиво. Один из них, секретарь парторганизации колхоза Музаффар — чуткий руководитель, прислушивающийся к голосу масс, для него главное — это забота о людях, о пользе колхоза.

Музаффар — человек умный, энергичный, новатор по натуре, в то же время очень душевный. Молодому очеркисту по душе такие люди — смелые, честные, инициативные. Он видит их в жизни, выводит их на страницах своих произведений. Таким был новый председатель из первого одноименного очерка писателя. Он во многом ошибался, но это был характер и характер цельный. Молодому очеркисту удал-

ся образ Музафара. Он нарисован тепло и с любовью.

В композиции очерка применён приём контраста: Музафару противопоставлен Фаттох. У Фаттоха всё строится на «показателях», на внешнем благополучии. Под его крылышком неплохо живётся в колхозе тунейдцам и очковирателям — здесь умеют принять «нужных» людей: для этой цели предназначена даже часть сада и «небольшое, нигде не заприходованное стадо баранов». Очеркиста давно волнует тема борьбы с тунейдцами и расхитителями общественной собственности.

Самое основное в очерке Мухаммадиева то, что в нём выведены люди с новым отношением к труду, друг к другу — это новые хозяева новой жизни.

Интересен очерк молодого литератора М. Нажметдинова «Спор». В нём затронуты важные вопросы совхозного строительства, нарисован сильный характер.

Героиня очерка Карима Сагдиева — человек смелый, принципиальный, не отступающий перед трудностями. Она чем-то неуловимо напоминает «птичку-невеличку» из одноимённой повести узбекского писателя Абдуллы Каххара. Немало, видимо, уже в наших кишлаках таких деятельных, независимых и настоячивых женщин, которые не просто хорошо и честно работают, но не боятся вступить и в борьбу за то, что считают правильным.

Вопрос о взаимовлиянии, о связи братских литератур чрезвычайно важен и, к сожалению, недостаточно разработан. Приведённый пример говорит о том, что два писателя — таджикский и узбекский — столкнулись в жизни со сходным явлением, увидели в нём типические черты, отразили его в близких и похожих образах.

Героиня очерка М. Нажметдинова Карима не ищет спокойной жизни — она вступает в нелёгкую борьбу не только с директором совхоза Бободустовым, жуликом и самодуром, но и с его покровителем — председателем райисполкома Хамдамовым. Против неё пущены в ход угрозы и клевета, но ничто не может сломить волю отважной женщины. Она верит в правду, в поддержку всех честных людей.

В сравнительно небольшом по объёму очерке автору удалось вместить большой жизненный материал. М. Нажметдинов сумел увидеть новые черты в психологии женщины-таджикки, вместе с ней выступить своим очерком против лживых, демоagogических речей хамдамовых. В очерке многое волнует — и в поступках героини, и в непосредственных словах автора, очень проникновенных, когда он говорит о Кариме, решительных и негодующих, когда рассказывает о методах «руководства» Хамдамова: «... конечно, он случайный человек в партии и о нём ещё будет разговор особо. К сожалению, такие люди, как он и Бободустов, есть ещё в наше время. Но мы их не пустим в коммунизм. Слышите, Карима?»

В этом очерке присутствует то, что делает его заметным в нашей очерковой литературе — драгоценная близость к живой действительности, нетерпимое отношение

автора ко всему, что мешает нашему движению вперёд.

В очерке «Распахнутое время» М. Нажметдинов рисует колоритный образ старого чабана. Этот отважный и весёлый человек, много переживший и передумавший, радеет о колхозном благе, спорит, когда надо, и с председателем и с правлением колхоза. Этот образ сродни образу Каримы в «Споре».

Вторую часть того же произведения составляет беглый, поверхностный рассказ о двух молодых шурабских шахтёрах Гани и Мухиддине. Эта часть очерка написана по шаблонной схеме: Гани честно работает, любит шахту, Мухиддин работает халатно, шахту не любит, но на второй странице в срочном порядке перевоспитывается, и они становятся «неразлучными друзьями». Так серьёзный вопрос об отношении к труду сведён на нет примитивной, серой, нехудожественной формой изложения.

Интересен очерк А. Сидки «Всё тот же Джура», являющийся продолжением широко известного очерка писателя «Джура». Джура Саркор полюбился читателю давно, обрадовала и новая встреча с ним. Секрет, видимо, в том, что на страницах этих очерков действует живой человек, чрезвычайно привлекательный и интересный: несколько чудаковатый, но мудрый, колочий фантазёр и одновременно истинный новатор.

Да, Джура любит помечтать. Но он не беспочвенный мечтатель — мечта у него сочетается с трезвым расчётом, с пониманием реальных возможностей. «От руки человека земля расцветет», — говорит он, — «При современной технике можно все предгорья превратить в сады».

Джура — натура деятельная. Слова, мечты у него всегда сочетаются с делом. Задумавшись над тем, как дорого обходится ручная уборка хлопка, он тут же ищет выхода: готовит поле с широкими междурядьями для машинной обработки.

Джура — человек по возрасту старый, а по мировоззрению — новый. У него настоящий государственный подход к тому, что его окружает. Так, его волнует и то, что горожане, приехавшие на уборку хлопка, не производят в это время никакой продукции и тем самым хлопок становится ещё дороже. А. Сидки сумел увидеть, художественно изобразить новое и значительное явление — он показывает, как передовое, прогрессивное в жизни заставляет людей становиться новаторами.

Джура не боится риска, он «нарушает» агротехнику, изменяет размер квадратов, вступает в борьбу с Искандаровым. Горячий старик неугомонен — сам отправляется в Ташкент на завод, выпускающий хлопкоуборочные машины, пишет заметки в газету о неполадках, спорит со всяким, кто хочет помешать делу, «влезает в дела райисполкома», как с возмущением говорит Искандаров.

Удачей очеркиста является и образ Искандарова: он тоже выхвачен из жизни. Искандаров воевал с басмачами, был скромным человеком. Теперь его не узнать. Это самохвал и самодур. Только от него

и слышно: «Кто первым в Гиссарской долине выполнил план? Мы! Кто дал высокий урожай? Мы!...» Он против всяких новшеств, всяких опытов, ему наплевать на существо дела, важно только одно — рапортовать первым, получать привычные похвалы и награды. «Мы государству не опыты сдаём, а хлопок», — говорит он Джуре, когда тот ищет новых путей повышения урожайности. И автор с горечью замечает: «Что же с тобой приключилось?.. Короткая у тебя память, Искандаров...»

Очерки «Всё тот же Джур» и «Фатгох и Музаффар» были напечатаны в журнале «Дружба народов». Вопросы, поднятые в них, имеют большое значение и для других республик: они касаются не только хлопка и не столько хлопка, сколько людей, которые его выращивают, их взаимоотношений, чувств, мировоззрения. В этом и состоит достоинство этих очерков, их художественная сила.

Широкий читатель может познакомиться с жизнью Таджикистана также по двум очеркам А. Одинцова, вошедшим в его книгу «Из дома в дом».

Очерк «Чудеса в Апоне» посвящён теме сложной и для нашей республики особенно важной: он рассказывает о переселении горцев, о проникновении в их жизнь и быт новых понятий, обычаев, привычек.

Большую роль в этом сыграл мечтатель и энтузиаст, борец и учёный, человек новой морали — Самиджан Маджидов. Он оставил тихий кабинет, работу над диссертацией и поехал в родной район по зову партии, по зову сердца. Да, он нередко ошибается, но он честно, горячо и увлечённо трудится и потому его ждут успехи, потому ему доверяют люди.

«Удивляться, находить» — очерк о Х. Назарове, авторе повести «В поисках Карима Девоны», человеке неугомонном, влюбленном в творчество, в поиски, в труд.

В очерках А. Одинцова всегда присутствует автор — не только через героев, через оценку их поступков и мыслей, но и непосредственно, как участник, собеседник, друг. Это придаёт его очеркам убежденность и естественность.

Основное достоинство перечисленных очерков в том, что их авторы стремятся подойти вплотную к жизни, стараются увидеть новые явления в жизни и психологии своих героев.

3. Писатели в пути

В последнее время в нашей очерковой литературе широко распространился ещё один вид очерка: очерково-путевые заметки. Он даёт возможность писателям рассказать об увиденном, передуманном и пережитом во время их путешествий по необъятным просторам нашей Родины, а также за рубежом.

Наиболее значительные и современные из появившихся в последнее время путевых очерков — «От Сталинабада до Киева» Дж. Икрами и «Я не бывал в Узбекистане раньше» Г. Мирзоева.

Очерк Дж. Икрами посвящён поездке ав-

тора на съезд писателей Украины. Казалось бы, что особенного можно увидеть за несколько дней пути, когда почти всё время сидишь в купе, а стоянки поезда настолько коротки, что и уйти с перрона нельзя? Существуют пассажиры, для которых весь этот путь напоминает ресторанный меню; они отлично знают, какая станция какой знаменита снедью — все впечатления ограничиваются гастрономией. Другие все дни лежат на полке с книгой в руках, третьи, томясь от скуки и терзая попутчиков, яростно «забывают» козла.

Но тем, видимо, писатель и отличается от остальных людей, что замечает больше, видит дальше, мыслит глубже. В очерке «От Сталинабада до Киева» не происходит ничего необычайного, автор не описывает каких-либо удивительных встреч — он просто ведёт неторопливый, задушевный рассказ о том, как три делегата-литератора, старые друзья и соратники, поехали в Киев. Но этот рассказ наполнен писательскими раздумьями о волнующих автора вопросах и потому приобретает современную, актуальную окраску. Всё вызывает у Икрами широкие ассоциации, воспоминания, мечты о будущем. Как сам писатель говорит, он путешествует «не только в пространстве, но и в своих воспоминаниях».

Автор очерка не просто сообщает о размерах строительства гидроэлектростанций в Таджикистане, но говорит о том, как каждое такое строительство «принесит в колхоз городскую культуру, меняет старинный уклад жизни, облегчает быт».

В посёлке Перепадной ГЭС построили пекарню. Казалось бы — мелочь, но внимательный, зоркий глаз писателя увидел здесь первые победы нового быта — «этим освободили тысячу женщин от необходимости ежедневно выпекать лепёшки».

Вообще писателя живо волнует вопрос о положении таджикской женщины — ведь, чего греха таить, несмотря на огромные наши достижения в этой области, есть ещё немало трудностей в преодолении байского, пренебрежительного отношения к женщине в таджикской семье. Эти противоречия находятся уже не в социальной, а в психологической плоскости, и борьба с ними особенно трудна. К сожалению, эта сложная тема старательно обходится очеркистами, да и в рассказах наших писателей («Бахор» П. Толиса, «Мехри» Р. Амонова и др.) решается облегчённо: сначала муж или родители не хотят, чтобы героиня работала или училась, она страдает, потом она всё же идёт учиться или работать, окружающие осознают свою вину и — все проблемы решены.

Джалол Икрами понимает, что это не так просто и идилично, и потому говорит с волнением, болью и страстью о том, как ещё подчас тяжело приходится таджикской женщине в семье мужа. Тема раскрепощения женщины занимает большое место в творчестве Икрами, неоднократно возвращается он к ней и в очерке «От Сталинабада до Киева».

Икрами убедительно показывает, как в «старые рамки врывается новая жизнь», но не скрывает и того, что нередко «старые

порядки как-то ещё уживаются с новой жизнью» и гневно восстаёт против этого.

Круг поставленных в очерке вопросов очень широк и каждый из них интересен и важен. Независимо от того, о чём и о ком он рассказывает: о своих полутчиках или о маленьком мальчике, о степях Казахстана, проплывающих за окном вагона, или о красоте возрождённого Крещатика,— автор делится своими раздумьями: а они всегда о народе, о его благе. Он поднимает вопрос об эстетическом воспитании в колхозах, о внедрении нового быта, об учёбе и чтении руководителей районов, о культуре расходования денег и даже о правильном, рациональном и здоровом питании.

В очерке затрагиваются и вопросы литературного мастерства, изучения родного языка, борьбы за его чистоту.

Среди воспоминаний — тёплые строки о Лахути, его большой человеческой доброте, о том, как он ратовал за правду, порой горькую, как хинин, но приносящую пользу.

За такую же правду в искусстве стоит и сам автор очерка. Именно в правде жизненных наблюдений, искренности мыслей и таится обаяние произведения Джалола Икрами «От Сталинабада до Киева».

Близок по форме к очерку Дж. Икрами и весьма интересен очерк Г. Мирзоева «Я не бывал в Узбекистане раньше». Это своеобразный творческий отчёт писателя о неделе таджикской литературы в Узбекистане.

Очерк отличается жанровым разнообразием: мы найдём в нём стихи автора, песни и легенды, литературный портрет муаллима Боки — учителя и друга, публицистические и лирические отступления, вопросы, обращённые к своей писательской совести, раздумья «о месте поэта в рабочем строю».

Очерк написан поэтом, и это сквозит в каждой его строчке — в нём подкупает именно поэтическое видение, поэтическое восприятие автором окружающего, насыщенность образами. И как во всякой истинной поэзии, чувства здесь сливаются с мыслью: образы живут не сами по себе, они служат выражению идеи автора.

«Я не бывал в Узбекистане раньше» — первый большой очерк поэта. Это удачное начало.

4. Не отставать от запросов времени

Передки очерки, в которых отражены какие-то важные вопросы сегодняшней жизни, но их нельзя назвать по-настоящему современными. Это случается по ряду причин: или в очерке отсутствуют живые полнокровные герои, или в нём нет публицистической заострённости, ясно выраженной авторской оценки, или очерк лишён обобщающей, типизирующей глубины.

Такие недостатки, недоработки можно объяснить частично и невниманием критики к этому важному жанру литературы, а также и тем, что укоренившийся взгляд —

«в очерке всё можно, всё сойдёт» понижает требовательность к авторам очерков, и самих очеркистов к своим произведениям.

Я уже говорила об очерке М. Нажметдинова «Распахнутое время», в котором соседствуют небольшой, но хороший очерковый портрет и примитивная схема. Таких примеров, когда способные авторы допускают в своих очерках недоработки, которые они же никогда не допустили бы в рассказах или поэмах, можно привести немало.

В очерке А. Дехоти «Вода и жизнь» есть такие слова: «Да, поэзия звучит только тогда, когда будешь писать сердцем, лишь о том, что волнует тебя!». А что может волновать сильнее, чем нынешние факты нашей жизни?!

А. Дехоти волнуется «нынешние факты нашей жизни», поэтому он говорит о проблеме сохранения воды, о «борьбе за капли», о том, «как устроить закрытую оросительную систему и распределять воду по необходимости, т. е. экономить её».

«Борьба за такие капли должна стать всенародной», — говорит писатель. Очерк А. Дехоти «Вода и жизнь» — ещё один пример того, как очеркист своим пером участвует в переделке жизни, помогает изменить лицо земли.

В очерке С. Шмеркина «Беспокойный характер» выведен рядовой, как его называет автор, колхозник — Ашуридагал.

У героя очерка «беспокойный характер» — он язвительно критикует очковитительство, с помощью которого «растут» удои на ферме. «Партия дала нам все возможности, чтобы по-умному хозяйство вести», — говорит он и, действительно, всё время думает над тем, как же хозяйствовать «по-умному», как им в колхозе «надо за семилетку браться».

Образ Ашуридагала — несомненная удача очеркиста. Он выписан густыми штрихами, наделён самобытной манерой поведения и речи. Но характер этот ослаблен тем, что он статичен, не показан в движении — в очерке нет конфликта, преодоления каких-либо препятствий. Идеализированный председатель, замечательные условия, доброжелательные замляки. Боевой задор героя проявляется только в остроумных репликах и разговорах с друзьями.

Достоинством очерка является то, что автор ставит вопросы экономии, бережливости в колхозе. Причём Шмеркину удается не просто «декларировать» это, а передать через образ героя. Но, поставленный в тепличные условия, герой не смог полностью раскрыться.

Интересный материал лежит в основе очерка Л. Горлецкого «Хозяйка района» о Султанасаб Мирзоевой, маленькой, худенькой женщине, обездвигавшей верхом чут не весь Памир. Учительница, комсомольский вожак, руководитель района — таков путь этой горянки, новой женщины советского Памира.

Но очерк суховат, ему недостаёт задушевности, теплоты. Это объясняется, видимо, тем, что некоторые наши писатели до сих пор считают, что в очерке должны

преобладать факты и цифры, а всю «лирику» надо оставить для повестей и рассказов.

Большой очерк Я. Нальского «Инженер» посвящен важному и актуальным проблемам механизации хлопководства. В центре внимания — молодой инженер Ахмеджан Турсунов, человек энергичный и инициативный, работающий над усовершенствованием хлопкоуборочной машины. Колхозный инженер — фигура новая, и обращение очеркиста к этой теме, интерес к новым процессам, рождающимся на наших глазах, понятен. Автор хорошо знаком с тем материалом, о котором пишет, он умеет рассказать о нем широкому читателю в доступной форме.

В очерк включена также линия развития взаимоотношений Турсунова с любимой девушкой. Именно «включена», так как она не сливается с основной темой — борьбой инженера за механизацию в колхозе, а идёт где-то рядом, в стороне. Правда, Турсунов говорит однажды, мысленно обращаясь к отсутствующей любимой: «Теперь работа, только работа — это для тебя, Роксана». Но тем не менее, в очерке эти линии не соединились, любовная история описана шаблонно и, по меньшей мере, наивно, только упрощает образ главного героя.

Очерк Нальского напечатан с сокращением. Можно было без ущерба сократить эту «беллетристическую» линию. Тогда читатель, возможно, узнал бы, как же получилось, что в десятой части очерка колхозникам пришлось вручную собирать хлопок на участке, предназначенном для хлопкоуборочной машины, а в одиннадцатой появляется такая фраза: «В поле на полную мощь работали обе хлопкоуборочные машины».

Авторы перечисленных очерков в силах создавать полноценные произведения о наших героических днях. Для этого нужна вдумчивая работа над образами, внимание к вопросам композиции и языка.

Самое страшное для очерка — это упрощенное описательство. Оно вынимает из очерка живую душу — его художественность, а очеркиста превращает в информатора.

Очеркист должен не только информировать, но и вмешиваться в жизнь своим словом, своей мыслью, своим обобщением увиденного.

В сборнике «Утро семилетки», в целом содержательном и интересном, немало сухих информаций, в которых скороговоркой сказано о важных вопросах народного хозяйства и шаблонных описаний представителей разных профессий. В таких очерках не показано главное — живые люди, которые вершат славные дела семилетки.

Очерки сборника «Спасибо партии» о наших современниках еще раз дают нам представление о том, как несравнимо изменилась жизнь таджикских женщин, какие перед ними открылись широкие горизонты. Весь сборник построен на примерах интересной, полной счастья и труда жизни женщин.

Но в ряде произведений сборника не создано ярких, запоминающихся характе-

ров. Они состоят из перечисления дат и веков, в них нет стремления раскрыть характер, показать своеобразие работы. Об интересных и значительных людях рассказано тускло и неинтересно. Таковы, например, очерки С. Кабилова «Гордость колхоза», А. Сокина «Простой души человек» и ряд других.

Повышение требовательности, пристальное внимание к современности, проникновение в психологию наших современников — вот что нужно, чтобы не отставать от запросов времени и читателей.

5. Повышать мастерство!

Беда многих очерков — поверхностное знакомство с жизнью, с героями. В них обычно рассказывается об успехах героя. Но какие трудности он встречает? Побеждает ли или нет? Если побеждает, то как? В таких очерках поражает однообразие изобразительных средств, схематизм построения.

Вот перед нами очерк Б. Шохина «Животворный меч» — о враче Кимягарове. Сначала (это закон схемы) мы встречаемся с героем в период, когда он уже всего достиг — к нему приходит за помощью больная. Потом рассказывается (и это тоже закон схемы) о прошлом героя. Желательно сказать, что о своей работе он мечтал давно. Кимягаров, как выясняется, с раннего детства решил посвятить себя борьбе с туберкулезом, поступил в медицинский институт, стал заведовать отделением. Потом очеркист совершает скачок — «с тех пор прошло десять лет» (можно и больше, если надо), скороговоркой сообщает о том, что герой занимался, не менее бегло и наивно описывает одну операцию («Молчание. Хирург не произносит ни слова. Приказания отдаются взглядом, кивком, жестом»). Правда, в очерке сказано: «Не сразу осилил Яков Эмануилович операцию на лёгком». Но это и все. А каков внутренний мир героя? Где и когда он живёт? В чём видны черты нашего современника? Ничего этого читатель не узнаёт.

За громким претенциозным названием спряталась схема. Тема решена мелко, поверхностно, и потому выглядит далеко не такой значительной, как того хотел автор.

Я остановилась так подробно на очерке «Животворный меч» не потому, что он хуже десятка других. — нет, он не хуже и не лучше многих так называемых проходных очерков. В нём отразились именно те болезненные явления очеркистики, которым нужен «животворный меч» литературной медицины — критики.

Как правило, за исключением исторических очерков, остальные виды этого жанра посвящены современным темам. Это и делает очерк самым действенным видом художественной прозы. Но есть очерки, в которых подлинная современность — отображение событий сегодняшнего дня, актуальность и значимость поднятых вопросов подменяется видимостью современности. В таких очерках речь идёт вроде о наших современниках, о наших днях, в них даже

иногда точно указывается время действия, но, в действительности, если убрать так называемые приметы времени, то окажется, что эта современность чисто внешняя, а очерк в равной мере мог быть написан и несколько лет назад.

Вот очерк А. Вахобова и Х. Бабаджанова «Знатная доярка». Он чрезвычайно показателен для целого ряда «очерков».

Доярка Олма Рахматуллаева добивается небывалых успехов. Под звуки парадных фанфар очеркистов всё это происходит удивительно легко — муж одобряет её решение пойти на ферму, на ферме её встречают радостно. «Конечно, на первых порах ей было трудно», — отдавая дань правде жизни, пишут авторы. Но её успокаивает заведующая фермой, и уже через несколько строчек «слава об искусной доярке разносится по всей республике».

В очерке конспективно изложены некоторые факты биографии Олмы, но не раскрыто главное — её внутренний облик, движения её души. В очерке называются даты и имена, но это и всё, что связывает его с жизнью. Но ведь современность определяется не хронологическими указаниями, а важностью проблематики, пониманием тенденции общественного развития, глубиной проникновения во внутренний мир героев, мастерством изображения характеров — через них, и только через них можно перенести жизнь на страницы литературы.

6. Летопись героических дел

Слова Н. С. Хрущева о том, что писателю — помощник партии, обязывают писателей ещё внимательнее, ещё пристальнее вглядываться в жизнь, бороться за её перестройку.

Недостатки в организации сельского хозяйства, злоупотребления и очковитительство, имевшие место в работе некоторых прежних руководителей республики подверглись беспощадной критике на Пленуме ЦК КП Таджикистана. Партия смело вскрывает ошибки, решительно их исправляет, движется вперёд. Очеркисты отмечали явления бюрократизма, очковитательства, формализма в подходе к людям, обращали на них внимание в своих произведениях. («Первый председатель» и «Фаттох и Музаффар» Ф. Мухаммаднева, «Спор» М. Нажметдинова, «Беспокойный характер» С. Шмеркина и др.). Это говорит о том, что к голосу наших очеркистов надо при-

слушиваться. Чем глубже они будут знать жизнь, чем пристальнее в неё вглядываться, тем больше смогут подсказать, посоветовать. К сожалению, большинство очеркистов недостаточно глубоко и полно вскрывали пороки в руководстве народным хозяйством республики.

Пленум нацелил трудящихся республики на скорейшее преодоление имевшихся недостатков, на внедрение передовых методов хозяйства, на то, чтобы честно выполнить свои обязательства перед государством и встретить XXII съезд КПСС достойными трудовыми делами. В подъёме народного хозяйства немалую роль могут и должны сыграть все писатели, и особенно очеркисты, наиболее близко, тесно связанные с проблемами сегодняшнего дня, с современностью.

Лучшая награда для очеркиста — если его очерк принесёт осязательную, реальную пользу людям, народу, стране! Это высшее счастье, и к нему стремится в меру своих сил и способностей каждый честный писатель, чувствующий ответственность перед народом, перед Родиной.

Не случайно на страницах газет и журналов всё чаще стали появляться статьи об отдельных очеркистах, о сборниках очерков. «Правда» призвала создать очерковую летопись героических дел наших современников. Задача очеркистов в том, чтобы найти интересный жизненный материал, воплотить его в яркой и художественной форме.

Лучшие очерки таджикских писателей о развитии народного хозяйства, о грандиозном размахе строительства в Нуреке, о наших днях, о людях республики, собранные вместе, могут составить широкую картину жизни республики, отразить основные этапы славной семилетки.

Для дальнейшего развития очерковой литературы следует издавать лучшие очерки отдельными книжками, практиковать издание книг очерков, вышедших в журналах в течение года, — возможно больше и чаще издавать очерки, придвинуть очерки к их героям, что поможет творческому воздействию литературы на нашу сегодняшнюю жизнь.

Очерковый жанр продолжает совершенствоваться, расширять свои возможности в правдивом отражении жизни и воздействии на неё. Очеркисты Таджикистана вносят свой вклад в борьбу народа за мир, за Коммунизм.

С НЕДЕЛИ КИРГИЗСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

ЖЕМЧУЖИНЫ АЛА-ТОО

С 5-го по 11-е июня в нашей республике проходила Неделя киргизской литературы. Такие Недели стали новой славной традицией в практике работы братских писательских организаций страны и каждый раз выливаются в подлинный праздник дружбы многонациональной семьи народов Советского Союза.

Встреча с литераторами Киргизии — четвертая по счету Неделя, проводимая Союзом писателей Таджикистана. Наши дорогие гости — народный поэт Киргизии Аалы Токомбаев, ответственный секретарь СП Киргизии Шукурбек Бешеналиев, поэты Курбанычбек Маликов, Темиркул Уметалиев, Абдрасул Токтомушев, Тумамбай Байзаков, Касым Канмов, русский писатель Анатолий Сальников вместе с писателями Таджикистана совершили интереснейшую поездку по республике, встретились с читателями на производстве, в колхозах, в учебных заведениях Сталинабада, Ленинабада, крупных районных центров, выступили по телевидению, познакомились со строительством Нурекской ГЭС. Торжественный вечер открытия Недели в Государственном ордене Ленина театре Оперы и балета имени Айни в таджикской столице и заключительный вечер, проведенный в Концертном зале Ленинабада транслировался радиостанциями обеих республик. В Союзе писателей Таджикистана состоялась творческая встреча коллек-

тива таджикских писателей и киргизских гостей.

В дружеской беседе писатели затронули много важных вопросов развития братских литератур Киргизии и Таджикистана, рассказали о деятельной подготовке к XXII съезду КПСС. Киргизские поэты прочли свои стихи, рассказали о трудовом подъеме киргизского народа. Все эти волнующие встречи были — как ворота в большой и широкий мир, в страну дерзаний, свершений, подвига. И одновременно они были открытием еще

одного чудесного мира — волшебного мира киргизской поэзии, эпиграфом к которому можно поставить строки старейшего поэта Киргизии Аалы Токомбаева:

Позавидуют нашей судьбе,
Сказы сложат о нашей борьбе.
«Будем жить мы достойно, как
предки», —
Скажут наши потомки себе.

С чем сравнить могучее слово поэта? Как пестротканый ковер одевает оно в нашем воображении землю, и каждый малый кристалл горных глубин находит свою стежку в сложном

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ



Группа артистов театра имени В. Маяковского — народный артист республики Н. Волчков, артисты Е. Аргуновская, Л. Моисеева, К. Левашов, С. Владимирко, В. Чалов, О. Вершковский — участники спектакля «Иркутская история» во главе с режиссером Ф. Ташмухамедовым приехали в этот день к строителям Нурекской ГЭС.



Сцена казалась продолжением стройки, а стройка продолжением сцены.

стоцветном узоре... А может быть, оно—водопад, который несет бурю чувств на каждой волне, и огромный запас энергии, и живую, теплую жизнь каждому стеблю, жаждущему отдавать таинственной влаги искусства... Или это — жаркий свет маяка, озаряющий веки наших дорог и прекрасные дали... Скорее всего, поэзия — это мы сами, и слово поэта — это слово нашего современника, простое и честное слово Человека, который своими руками строит всё, что мы любим, всё, за что боремся, всё, что воспевает.

Таким голосом Современника открывается нам киргизская советская поэзия с первых своих строк, с первых шагов на овеянном легендарной славой поле жизни и литературы. 1924-ый год — это не только дата рождения национальной письменности Киргизии, это начало поэтической письменной летописи, которая день за днем и год за годом ведет точный счет великим делам, великим свершениям народа. Но в отличие от прочих «счетных» наук, поэтическая математика — активна. Она — воин в седле, вооруженный разящей стрелой меткого слова. И мысль поэзии всегда прицельна, если она действительно поэтическая мысль. Только в этом случае она достойна находиться в полете.

Снянем песни все озарено
И гневный стих всегда
готов к атаке!—

говорит поэт Абдурашид Бердибаев.

Жизнь и поэзия советской Киргизии совместились. Вот почему называют крылатыми стихи первых летописцев счастливого Киргизстана: зачинателя киргизской советской поэзии Народного поэта Аалы Токомбаева, поэтов Элебаева, Кубанычбека Маликова, Темиркула Уметалиева. Вот почему «соловьями садов Ала-Тоо» стали талантливые авторы Алыкул Османов, Абдракул Токтомушев, Кубаныч Акаев, Сатия Абдыкеримова, Ясыр Шавази, Насирдин Бейтемиров. Вот почему ясно и солнечно прозвучал голос нового поколения поэтов — Абдурашида Бердибаева, Мусы Джангазиева, Сарнагоева и еще многих, многих других из боевого отряда творческой молодежи.

Путь поэта по родному краю — это всегда удивление перед великими свершениями народа, счастье встречи с благословенной землей отцов, заново рожденной в наше, новое время. Всё в природе озаряется солнечным светом этой замечательной новизны — и юные города, и плодотворные колхозные нивы, и возращенные к жизни пустыни, и древний Ала-Тоо — легендарные горы Киргиз-

стана. Нежностью и вдохновением дышат строки стихотворения Кубанычбека Маликова «Ала-Тоо — моя отчизна» — своеобразный путевой блокнот, признание влюбленного любимой — своей родине, своей стране:

Я птицей над миром полускай
полечу,
Но крыльями горстку земли
захвачу.
Земля Ала-Тоо, тебя
не забыть,
Твоим буревестником
быть я хочу!

Соловьи не повторяют свои песни. Тысяча соловьев поет на тысячу разных ладов. Но когда есть в мире солнце, то каждая песня будет равно, хотя и по-своему, славить свет, дарующий жизнь. И в многоликой и многоголосой киргизской поэзии мы видим это единое обращение к свету наших дней — Родине, Партии, Коммунизму — обобщенное точным и кратким понятием Народной жизни, будь оно выражено в эпической поэме, или в восьми строках лирического стихотворения. А когда есть поэт, то есть и сердце поэта. О великом его слиянии с гордым сердцем народа проникновенно и просто поведал нам поэт-воин Темиркул Уметалиев.

Чужого не желющее сердце,
Своем не изменяющее сердце,
В любви не угасающее сердце,
Киргиза сердце я ношу в груди.

Для родины пылающее сердце,
Брага исполняющее сердце
И ржавчины не знающее
сердце,—
Киргиза сердце я ношу в груди.

Нет, это не тяжкая ноша — поднять, как зная, сердце народа и светочем принести в дар тревожному, вестенному миру. Это не тяжкая ноша — стать самому сердцем народа. Тяжко — быть грузом на сердце... Поэтому будь крылатым, поэт! Но это не значит также, что ты можешь быть невесомым или примешь в ладони невесомую чашу бытия. Наша жизнь полна до края, нести её так, чтобы не пролить, не расплескать ни одной драгоценной капли. И сам будь полон до края солнечной энергией движения и действия. Больше того — будь атомным реактором во имя труда и мира! Тогда ты откроешь для себя и в себе все просторы

тескрайней вселенной, откроешь затем, чтобы щедро вернуть открытие хозяину всех благ на Земле — человеку... И помни, что всё имеет вес и цену. Цену крови и подвига. Вес комочка земли и теплого колоса хлеба. Считай точнее, поэт: ты не имеешь права на ошибку...

Я не беру на себя авторство этого монолога. Я читаю стихи киргизских поэтов: так, мне кажется, ведет сокровенный разговор сама с собой строгая и требовательная большая киргизская поэзия.

Вправе ли она предъявлять к себе такую высокую меру ответственности? Я читаю стихи — да, вправе! Это ответственность перед лицом партии и народа, врученная ей народом и партией. Это строгий суд над всем, что еще слабо в огромном литературном хозяйстве, и это суровая вызывательность ко всему, что еще не завершено, недоделано, недоделано в огромном хозяйстве народной жизни. Многие дороги пройдены, но пути главных свершений еще впереди. Это закон нашей жизни, закон развития, закон движения экономики и духовной культуры: за первой ступенью идет вторая, высшая, за одной вершиной в горах — поднимается новая, еще более крутая вершина, — но и она не предел для наших желаний и наших возможностей. В стихах таджикского поэта, лауреата Ленинской премии Мирзо Турсун-заде «Сияющие вершины» речь идет как раз об этом наступательном движении вперед нашей сегодняшней жизни, нашей современности:

Сказал я себе: вот пример для судьбы Человека!
Похожа на горы судьба современного века...
...Так в гору шагай! Видишь — солнце зарделось, товарищ!
Как горный поток, проявляй свое смелость, товарищ!
Шагай неуклонно вперед, будет легче дышать,
И новых вершин ты скорее увидишь сиянье!

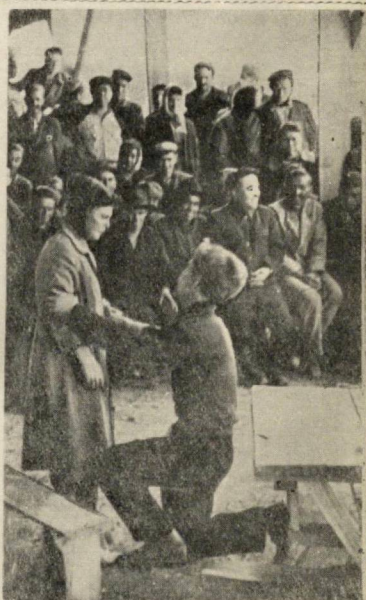
Прямой и открытый путь к этим вершинам указывает нам партия. В своем пристальном внимании к писателям, ко всем работникам литературы и искус-

ва партия неустанно работает об укреплении творческих сил страны коммунистического строительства, о том, чтобы писатели стояли ближе к жизни, к народу и полнее отражали величие его трудовых подвигов. Мы гордимся заботой партии, сердечным словом Никиты Сергеевича Хрущева, и стремимся каждый участник нашего литературного фронта сделать жизненно важным рубежом. В своей последней статье «К новым успехам литературы и искусства» глава нашего государства и первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев еще раз обращает внимание писателей на самые главные, самые насущные проблемы современности, в решении которых мы должны принять активнейшее участие. И если мы часто говорим сейчас о маяках нашей жизни, то, читая статьи Хрущева, мы видим, как светят эти путеводные маяки в каждой строке этого программного партийного документа. Да, родные мои товарищи, горячие головы, светлые и чистые сердца! Я горжусь вместе с вами, что это нам выпало счастье жить именно сегодня, со всеми радостями и горестями, со всеми тревогами и вдохновением нашего, сегодняшнего, современного мира. Мы сами часто не знаем, какой день нашей жизни становится историческим. «Нашей» — не для каждого из нас, нашей — для народа, больше того — для всех народов планеты Земля, для всего Человечества. А такие дни, пожалуй, составляют все триста шестьдесят четыре календарных листка каждого года! И это надо знать даже не разумом — сердцем, ведь сердце у нас должно быть очень большим, иначе не вместишь всего, что положено нам по долгу и призванию. А положена нам — высшая мера человеческого счастья: быть искорками огромного света, зажженного на земле Ильичем. Это очень большие слова, которые сказал нам Никита Сергеевич, — что «всех нас можно считать участниками великого похода, начатого

Лениным». Будем же измерять свои скромные шаги с гигантскими шагами ленинизма! Это на земле — самая прекрасная поэзия, ибо в ней — вся правда нашей истории, весь жар сегодняшних свершений, всё величие грядущего завтрашнего дня.

Трудно взять на ладони солнце. Легче взять на ладонь простую судьбу человека. Его мечты: они подвластны словам и напевам. Его взгляды на жизнь: они близки тебе — ведь мы — современники! Его надежды: это надежды всех простых людей земли... Но так ли он прост, этот человек, душу которого, как звезду весеннего восхода, мы бережно несем на счастье и радость людям? И здесь есть простой и четкий ответ, подсказанный самой жизнью.

Душа человека, душа народа — это музыка его труда. Можно слышать, как звенит, наливаясь хлебны-



Здесь, прямо на стройке, перед строителями живыми героями спектакля еще сильнее, еще проникновеннее.

ми соками, тучный колос пшеницы. Как поют золотые сады, как смеются ласковые виноградные лозы. Можно слышать голос мотора в горячие ночи над впервые поднятым пластом целины. И тенора фабричных станков, и басы экскаваторов, и звездные сигналы Спутников, и мощную ораторию новостроек — всё, что создали руки народа во славу своего свободного и

прекрасного отечества!

Стихотворение поэта Насирдина Байтемирова «Слово о женщине, возделывающей хлопок» ярко и образно отвечает на главные вопросы, поставленные партией перед нашей литературой — о единстве и неразрывной связи с жизнью:

Труд,

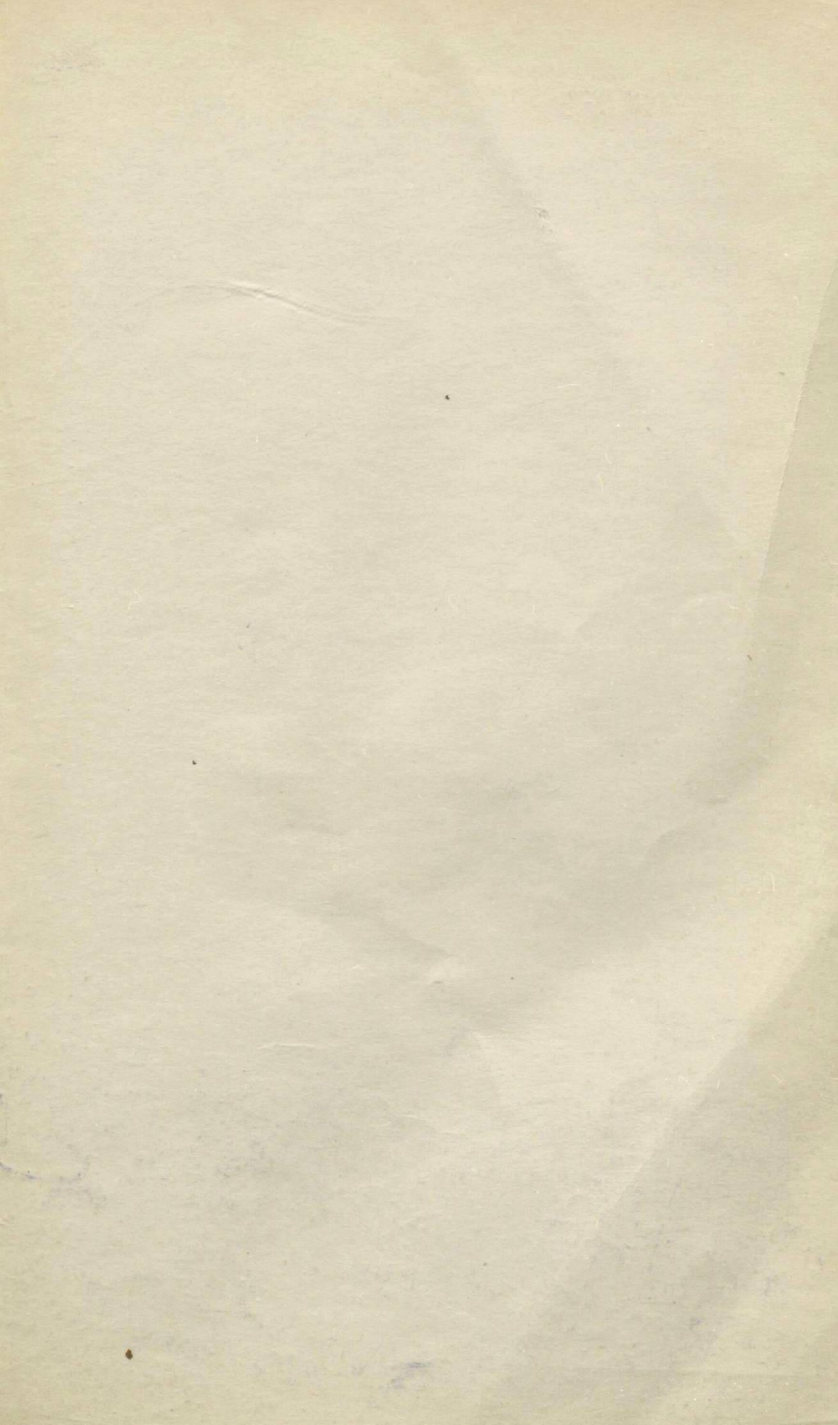
земля
и народ —

вот поэзии нашей истоки.

Стихи киргизских поэтов идут к нам уверенной походкой хозяина большой земли. В их голосе — гордая радость и полнота обретенного счастья!

И где бы мы ни были — когда думаем о Киргизии, мы видим эту распаханную ширь, мужественных людей, и слышим сильный и гордый голос, открывший нам душу киргизского народа языком её высокой Поэзии.

М. Фобанова



212

50 коп.